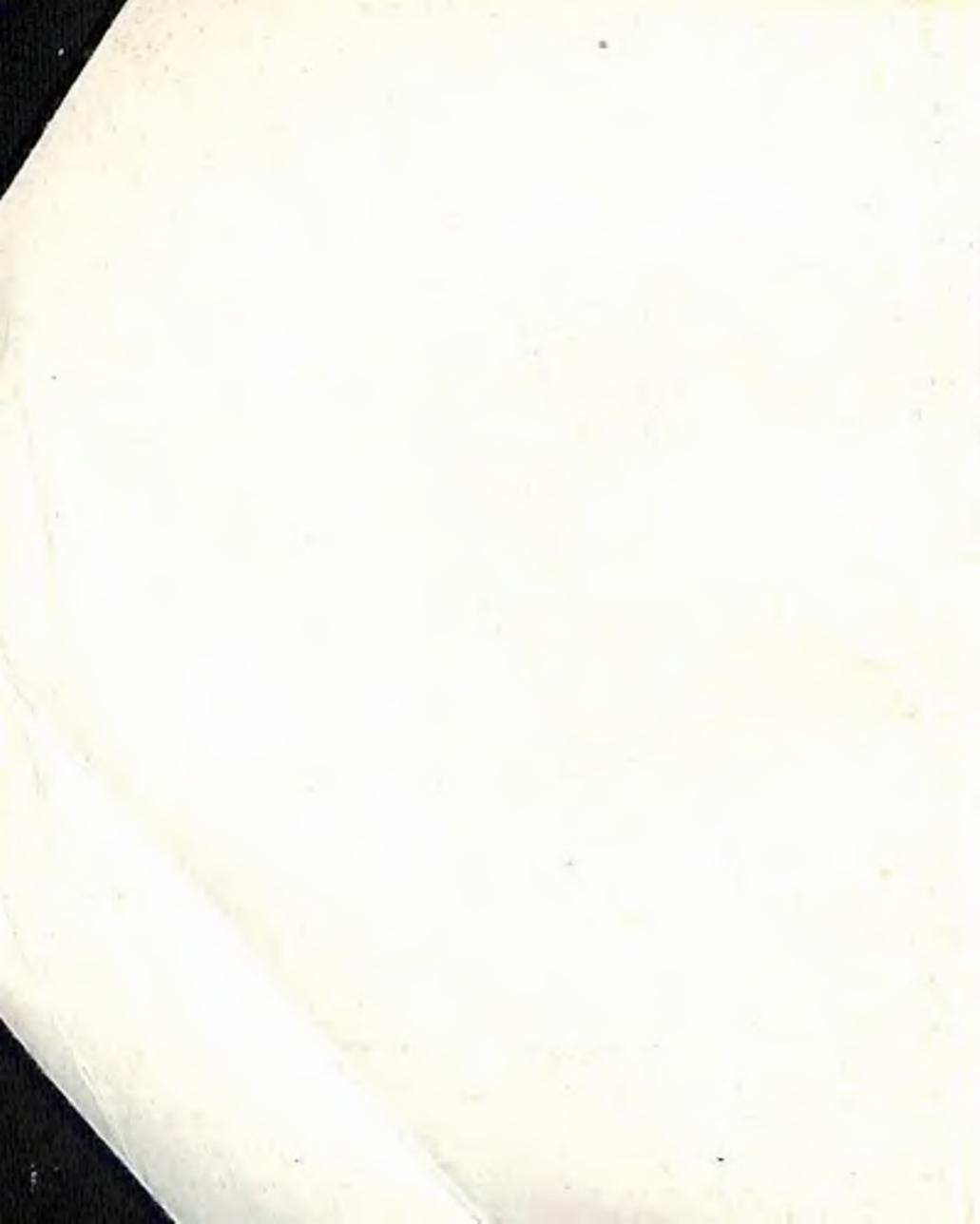
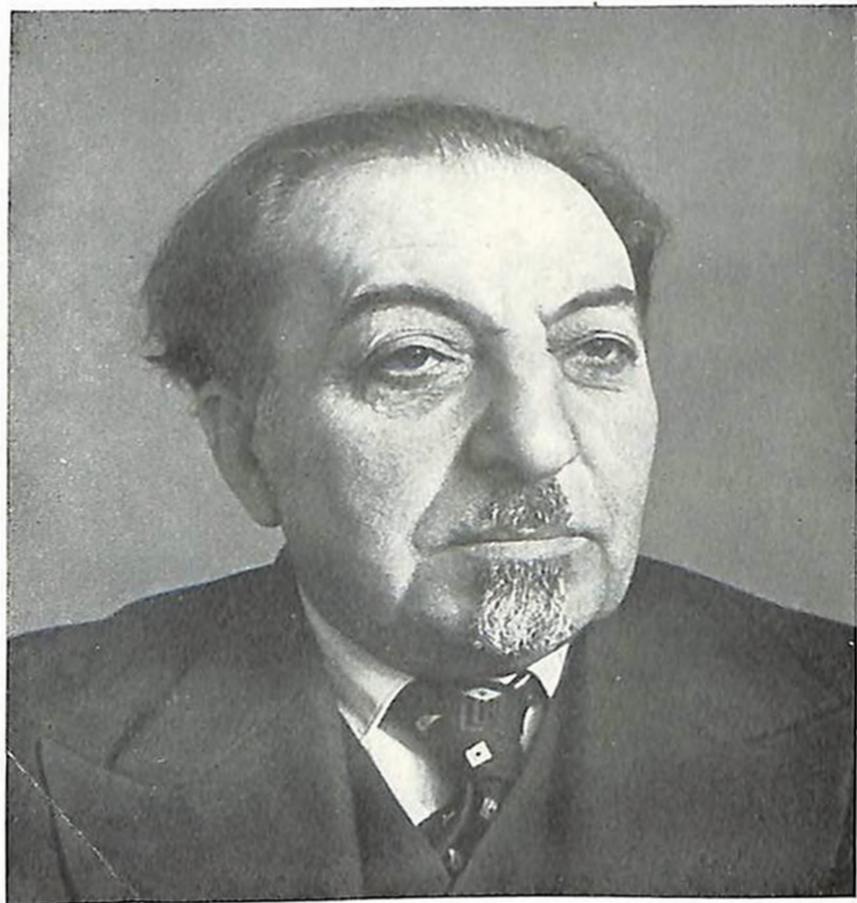




Л. Ахвердян  
ЖИЗНЬ  
И  
ДЕЛО  
АВЕТИКА  
ИСААКЯНА







Ulrich Frankenberg

Л. Ахвердян

Р  
И  
37400

ЖИЗНЬ  
И  
ДЕЛО  
АВЕТИКА  
ИСААКЯНА

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

*Авторизованный перевод  
с армянского М. Малхизовой*



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ  
МОСКВА 1975

Л. Ахвердян — известный армянский литературовед, критик, автор вышедшей на русском языке в 1969 году монографии «Мир Туманяна».

Книга его об Аветике Исаакяне приурочена к 100-летию со дня рождения великого армянского поэта. По жанру она близка к популярным критико-биографическим очеркам и вместе с тем оригинальна по форме. Широко привлекаемый автором эпистолярный и мемуарный материал так композиционно смонтирован с авторским текстом, что рядом с голосом критика в книге все время звучит голос поэта, повествующего о собственной жизни. Материал этот в большей своей части публикуется на русском языке впервые.

Много внимания уделяет автор народным истокам поэзии Исаакяна, своеобразию исаакяновского Востока. Подробно освещается формирование мировоззрения поэта под воздействием социальных и политических событий в Армении и в России в начале XX века, связь творчества Исаакяна с русской культурой, своеобразие его лирики.

© Издательство «Советский писатель», 1975 г.

## ОТ АВТОРА

*Предлагаемая вниманию читателя книга — не всестороннее исследование жизни и творчества Аветика Исаакяна, а попытка осветить наиболее важные, с точки зрения автора, звенья большого пути поэта. В ее основе — свидетельства самого Исаакяна, взятые из его произведений, статей, писем, воспоминаний, и размышления, комментарии, догадки критика. Эти два голоса читателю нетрудно различить в тексте.*





Мало кому из представителей армянской литературы, на протяжении всей ее сложной истории, выпадала на долю такая долгая жизнь, как Аветику Исаакяну. Восемьдесят два года — с 30 октября 1875-го по 17 октября 1957-го — вместили в себя жизнь, насыщенную не только историческими событиями, но и глубоким внутренним драматизмом.

На склоне лет поэт, не утративший ни на йоту ясности мысли и вдохновения, сказал о прожитой им жизни:

80 лет — это, конечно, большая милость человеку со стороны природы. И нужно наилучшим образом использовать эту милость. Челю-

век должен думать не о том, как бы побольше взять от жизни, а о том, что он оставит после себя в мире. Все прочее — суета.

Охватить взглядом всю жизнь Исаакяна помогают его слова, обращенные к молодежи:

На протяжении всей жизни я видел, как электрический свет сменил лучину и сальную свечу, телегу сменили красивые автомобили и курьерские поезда... У меня на глазах появились радио, телефон, электричество, электростанции, работающие на атомной энергии... Да, человек совершил чудеса...

Поэт мог бы вспомнить — память у него была удивительная, — как в юности в Тифлисе он был свидетелем полета одного из первых русских воздухоплателей — Уточкина. И написал об этом такими восторженно-потрясенными и такими возвышенными словами, которые способны вызвать у современного читателя лишь снисходительную улыбку:

Аэроплан — последняя величайшая победа цивилизации, древняя мечта человечества... оторвался от земли, этой одряхлевшей, густой, обезображенной преступлениями и насилиями земли... чудесное мгновение, священный миг — и мне кажется, что и у меня вырастают крылья, я удаляюсь от земли, лечу в бездонной лазури над алмазными горами, в лучах золотого солнца... Первое впечатление было необыкновенное, сверхчеловеческое... Это было — точно золотой сон, дивная поэма...

Но мы слишком забежали вперед, в 1910 год, когда тридцатипятилетний Исаакян был уже признанным поэтом, песни которого пелись в народе, автором прославленной поэмы «Абул Ала Маари», публицистом, общественным деятелем.

Вернемся к истокам — рождению и детству.

Ширакскую низменность населяли беженцы, появившиеся здесь в годы русско-турецких войн прошлого века. По мнению Исаакяна, его предки, происходившие из рода Арцруни, бежали в Ширак из Старого Баязета в 1830 году, после русско-турецкой войны 1828 года. Позднее, после войн 1856 и 1877—1878 годов, в этих местах поселяется множество армянских беженцев из Арзрума, Муша, Карса.

Деды Исаакяна обосновались в деревне Казарапат, находящейся недалеко от Гюмри (ныне Ленинакан), вблизи русско-турецкой границы. Историк Лео в 1908 году слышал здесь предание об основании этого села. Во время войны 1828 года некий крестьянин по имени Казар прославился своей храбростью, за что был отмечен генералом Паскевичем, который разрешил ему основать деревню на границе с османской Турцией. Так возникла деревня Казарапат.

Дед поэта, Никогос Исаакян, один из тех, кто помогал беженцам устроиться на новом месте, был для своего времени и в своей среде человеком заметным, образованным и состоятельным.

Отец поэта, который родился в 1828 году и женился на Алмаст Гылтчиан, получил в наследство мельницу, караван-сарай и огород. Этого оказалось достаточно, чтобы обеспечить поэту не только безбедное детство, но и в дальнейшем, вплоть до выезда за границу в 1911 году, избавить его от забот о хлебе насущном. Роскоши и богатства не было, но был достаток, обеспечивавший удовлетворение элементарных потребностей жизни,— редкая доля для армянского писателя.

Щедр и богат был чувствами и впечатлениями мир детства Исаакяна. Любовь и ласка украсили его младенчество. Прелесть природы Ширака и красочные картины народной жизни — язык, песни, обряды — глубоко проникли в детскую душу, чтобы никогда уже не покидать ее. Детство писателя не исчезает бесследно. Эмо-

циональное богатство, накопленное в детстве и юности, когда душа человека более всего открыта непосредственным впечатлениям бытия, остается постоянным источником вдохновения. На протяжении всей своей долгой жизни Исаакян черпал из этого неиссякаемого источника. Много лет спустя, в 1930 году, в Париже, он писал:

...Наш детский крик звенел  
Меж росистых полей.  
Резвились мы в изумрудной реке,  
И радостно веселилось солнце...

*(Перевод подстрочный)*

«Кто хочет понять поэта, должен идти в страну поэта», — сказал Гёте. Можно добавить: должен представить себе его детство. К счастью, Исаакян дает нам такую возможность. Он делится своими воспоминаниями о детстве с такой щедростью и искренностью, с такой достоверностью, что любые литературоведческие изыскания и домыслы выглядели бы жалкой подменой.

В 1933 году в Париже Исаакян вспоминает свое посещение родного края:

Вот наши сельские поля, где мы — парни и девушки — собирали банджар<sup>1</sup>, вот горы, где я проводил ночи с отарами овец, когда был пастухом...

Памятные места, где прошли мое детство и первые юношеские годы, где я играл с товарищами и где бродил в одиночестве, предаваясь мечтам, где пережил неразделенность своей первой любви, ее горечь и ее сладкую печаль...

Вот мой отец и мать. Отец — добрый, молчаливый, степенный; мать — с ликом святой, нежным, печальным, полным милосердия. Отец

---

<sup>1</sup> Б а н д ж а р — съедобная трава. — *Прим. переводчика.*

передал свои торговые дела в городе своим братьям, а сам с матерью переселился в деревенский дом доживать свои годы без забот. Я, как младший сын у родителей, был с ними. Ходил в школу в ближайшее село, пока не вырос, потом переехал в город.

Утро. Отец сидит в халате и с отрешенной сосредоточенностью вполголоса читает псалмы. С благоговением смотрю я на отца: мне представляется, будто передо мной несчастный человек, совершивший тяжкое преступление, и теперь он полными слез глазами читает священную книгу, чтобы искупить свою вину.

Мать появляется и исчезает, добрым, сладким своим голосом давая распоряжения служакам и работникам...

Уже топятся большие и малые тондиры<sup>1</sup>, пекут хлеб, готовят обед для нас и для работников, занятых на мельнице.

Мать собственными руками кормит проходных нищих и странников, провожает их в путь.

Отец, кончив чтение, идет на мельницу, время от времени проверяет лопасти, беседует с мельником, с крестьянами, привезшими зерно на помол, затем идет в сад, в огород, где собирает зелень к обеду.

Я с товарищами бегаю вокруг мельницы, мы поднимаемся на крыши нашего и соседних домов, прыгаем на стога сена, с шумом и гиканьем купаем в реке крестьянских буйволов и вместе с ними ныряем в воду. В поле мы са-

---

<sup>1</sup> Тондир — глиняная печь, в виде ямы, в которой выпекают хлеб. — Прим. переводчика.

димся верхом на пасущихся на воле ослов и старых неоседланных лошадей и скачем, держась за гривы...

Как много обаяния заключалось для поэта в этих детских играх, если он многие годы хранил память о них и спустя семнадцать лет в Женеве написал такие строки:

Вся слава геннев бедней  
Младенческих забав...

*(Перевод Н. Павлович)*

Детство, даже самое беззаботное и безоблачное, это не только игры и забавы, но и глубокая внутренняя работа души, интенсивное становление личности. Человеческий характер в основных своих свойствах формируется уже в детстве и юности.

Мудрость народного мышления, непосредственность чувств и переживаний, народная простота и прозрачность стиля — то, в чем мы видим неотъемлемые черты творчества Исаакяна, — все это заложено в нем его детством.

Раскрыла весна зеленые двери дня  
И, точно струна, запела в ручьях Бингёла.

*(Перевод Т. Спендиаровой)*

Для того чтобы пронести через всю жизнь это поэтическое мировосприятие («Бингёл» написан в 1941 году), нужно было прожить именно такое детство, какое было у Исаакяна, — среди тех самых картин природы, тех самых людей, что окружали его. Он впитал в себя весь этот природный, деревенский мир вместе с молоком матери: так же органично, как материнское молоко.

Здесь мое детское воображение окрылялось пришедшими из глубин веков поэтическими образами фольклора, песнями гусанов

и крестьян — благородными памятниками прошлого.

Поэт вспоминает, с каким упоением он слушал народных сказителей. У отца в соседней деревне был родственник, ашуг по имени Галуст.

Он хорошо играл на сазе, голос у него был нежный, бархатный, идущий из самой глубины сердца. Много сказок знал он — персидских, турецких, армянских. Был у него любимый эпос, сотканный из элементов и красок восточных сказаний.

О, как я любил дядю-ашуга! Когда он приходил, для меня начинался праздник. Часами, вперив взгляд в его темные глаза, я сидел, прикованный к месту его волшебным голосом. Он преображал все, что окружало меня: горы, реки, поля нашего края вдруг исчезали, и возникал какой-то иной, неожиданно прекрасный мир. Сказочный мир, где над гребнями гор летают огненные кони, удалцы отправляются добывать волшебное яблоко, прелестные девушки в мраморных чертогах с тоской ожидают бесстрашных храбрецов, в числе которых я видел и себя...

Исаакян уже в раннем возрасте познакомился с пышными красками восточной поэзии. Из иранского города Маку в их село приходили на заработки крестьяне. Проработав на баштанах с весны до осени, они возвращались к себе. Они пели печальные и протяжные песни, рассказывали сказки и предания, не подозревая, что сеют семена любви к Востоку в душе своего юного слушателя — будущего поэта, автора прекрасных восточных сказаний и поэмы «Абул Ала Маари».

В памяти возникает незабываемый вечер одного из тех богатых впечатлениями дней. Лежал я на баштане перед землянкой огород-

ников, на берегу реки Ахурян. Спокойствие и безмятежность царили всюду: на баштане, в полях, в моем сердце.

В этот день один из огородников-персов пел песню о Зили-Султане — кровожадном восточном тиране — и о его жертвах. О, сколько скорби, терзаний и безнадежного ропота звучало в этих сладостных и суровых звуках!

Впечатление не исчезло бесследно. Спустя десять лет поэт создал «Песню о Зили-Султане».

И многие другие услышанные в детстве песни, легенды, сказания и глубоко проникшие в душу впечатления той поры стали основой созданных позднее литературных произведений.

Обращает на себя внимание одна особенность: насколько часты в творчестве поэта такого рода впечатления детства, настолько же редки обращения к воспоминаниям той же поры, связанным с ученичеством. Следует отметить, что учение поэта, поражавшего впоследствии своей широкой образованностью, было чрезвычайно бессистемным и беспорядочным, главным образом в силу обстоятельств. Первоначальной грамоте его обучала женщина, приехавшая из Константинополя. Затем последовала учеба в приходской школе в Александрополе. В старом Гюмри, переименованном в честь русской царицы в Александрополь, который армяне сокращенно называли Алекполь, была и русская школа. В этой школе юный Аветик продолжил учебу, когда по распоряжению царского правительства были закрыты армянские школы. Это было в 1885 году. После русской школы следует начальная школа при монастыре Арич, диплом об окончании которой давал юноше право поступить в духовную академию Геворкян в Эчмиадзине.

В 1889 году Аветик — воспитанник академии. Каникулы он проводит в родном доме, гордясь своим семинарским одеянием и своими прославленными учителями.

Четырнадцатилетний Аветик Исаакян пришел в академию Геворкян отнюдь не с тем только багажом знаний, который он приобрел в учебных заведениях. Более значительную роль в юношеском развитии будущего поэта, великого знатока и мастера национальной культуры, сыграло его раннее увлечение армянской литературой.

Первым армянским писателем, имя которого услышал Аветик, был Газарос Агаян.

В комнате моей старшей сестры висел портрет Агаяна, на столе лежал роман «Две сестры» в роскошном переплете... Вспоминаю, как сестра читала нам «Две сестры». Мать, жена брата и служанка плакали, и я грустил о трагической смерти несчастного Арзумана...

Более поздним и более захватывающим оказалось знакомство с Перчем Прошняном. Аветик сам, уже будучи школьником, прочитал его. «Сос и Вардигер» пленил его так, как только мог пленить наивный, душещипательный — с сегодняшней точки зрения — любовный роман юношу его возраста и его духовного опыта.

Усевшись на толстой ветке ивы, склонившейся над водами реки Ахурян, я глотал страницу за страницей. Реальный мир исчез — над головой сняло солнце иных небес, передо мной бежала река Касах, и я, очарованный, вместе с Сосом и Вардигером страствовал в волшебных садах Аштарака. Слезы мои капали на страницы романа, сердце, охваченное печалью о несчастных влюбленных, трепетало.

В то время армянских книг для чтения было мало, и они, не соперничая и не мешая друг другу, прочно откладывались в душе поэта. Армянские писатели привили юному Исаакяну не только вкус и любовь к родному языку и отечественной литературе. Вместе с эстетическим наслаждением они давали пищу его уму, расширяли его идейный кругозор. И здесь первое место принадлежало,

конечно, революционному демократу, соратнику Герцена и Чернышевского — Микаэлу Налбандяну.

Возвращаюсь к годам моей ранней юности... Имя Налбандяна мы произносили с благого вением. Он был для нас рыцарем новых времен. Его имя было украшено нимбом мученика и героя идейной и национальной борьбы. Строго-настроено запрещенная книга его «Земледелие как единственно правильный путь» ходила в рукописных списках, мы читали ее глазами и сердцами, читали много раз и окрылялись, вдохновлялись для борьбы... Она дала нам понятия политические, экономические, исторические...

Удивительно было влияние на всех нас этой необычной книги, а также его «Песни о свободе», которую мы пели всегда с большим волнением и воодушевлением.

Душа юного Аветика была подобна чистой белой бумаге, на которой сокровища армянской литературы оставили четкую неизгладимую печать. И в будущем никакие книги на других языках, книги несравненно более высокого мастерства, не могли стереть эту печать с души поэта, уже обогащенного знанием мировой культуры. Более того, произошло скорее обратное, в соответствии с мудрым высказыванием Деренника Демирчяна: чтобы оценить Комитаса, нужно знать Бетховена.

Сила, с которой та или иная книга воздействует на человека, зависит не только от ее собственной художественной значимости, но и от интеллектуального и эмоционального мира воспринимающего, его возраста и характера. Случается такая счастливая встреча читателя с книгой, от которой возгорается пламя, освещающее всю жизнь человека.

Юный Аветик Исаакян стечением обстоятельств был шаг за шагом подготовлен к встрече с книгой «Рапы Ар-

мени» Абовяна. С самых ранних детских лет он слышал имя основоположника новой армянской литературы Хачатура Абовяна и сложенные вокруг его имени легенды. Потом вместе с товарищами пел песню героя романа, бунтаря Агаси.

В 1941 году на вечере, посвященном столетию создания романа Абовяна, автору посчастливилось услышать рассказ об этом из уст самого Исаакяна. Зал в глубоком молчании, с волнением слушал тихий, слегка дрожащий и напряженный голос поэта:

«Раны Армении» считались запрещенной книгой, ее тщательно прятали. Мы группой уходили из деревни, в поле было место, откуда видны были стены Ани<sup>1</sup>. Садились лицом к Ани и читали книгу... Смотрели на развалины Ани и снова читали...

Так еще до учебы в академии Геворкян будущий поэт с помощью Абовяна, Налбандяна, Раффи, Прошяна и других писателей проникается идеями, взглядами, чаяниями, которые будут сопровождать его на протяжении всей его жизни.

То, что взял Аветик из книг, нашло поддержку и дальнейшее развитие во время учебы в академии Геворкян (1889—1891 годы) под руководством прекрасных учителей, видных деятелей армянской культуры, и прежде всего и больше всего Иоаннеса Иоаннисиана. С ним Аветик Исаакян был связан очень тесно — и лично и творчески.

Что представляло собой творчество юноши, ограниченное незначительным жизненным опытом, до его

---

<sup>1</sup> Ани — столица и крупнейший торговый и культурный центр средневековой Армении (X—XIII вв.), развалины которой стоят и поныне. Армянская классическая архитектура достигла в Ани своего расцвета. В начале века раскопками Ани занимался академик Н. Я. Марр (1864—1934). — *Прим. переводчика.*

встречи в стенах академии Геворкян с Иоаннесом Иоаннисаном в сентябре 1889 года?

До поступления в академию Аветик был поэтом-самоучкой, известным только в кругу своих товарищей. Начал писать он с 11—12 лет, подражая прочитанным стихам и ашугским песням. Естественно, что это были стихотворения патриотические и любовные. Но если первые оставались чисто подражательными, далекими от собственного опыта юноши, то вторые имели какую-то жизненную основу. Юноша, обладавший необыкновенно чувствительным характером, начал влюбляться так же рано, как писать стихи. Двенадцати лет он влюбился в подружку детских игр по имени Заро. Детская любовь не имела развития, но и не прошла бесследно — в будущем мы встретим Заро, — правда, не в жизни Исаакяна, а в его творчестве. Так что, когда в 1890 году пятнадцатилетний Исаакян решил показать свое новое стихотворение духовному наставнику, у него уже был за плечами кое-какой поэтический опыт, и это не ускользнуло от внимания Иоаннеса Иоаннисана. Исаакян сам описал эту встречу:

В те времена это был молодой двадцатипятилетний мужчина — красивый, обаятельный, добрый, простой.

Я охотно учил его уроки и хотел, чтобы он заметил меня.

...Однажды, весной 1890 года, сразу после урока, я с сильно бьющимся сердцем подошел к нему в одном из темных коридоров академии и, протянув ему свое новое стихотворение, попросил прочитать... Стихотворение называлось «Два поцелуя». Первый поцелуй как будто дарит мне возлюбленная — розовыми, пылающими устами, а второй поцелуй дарит смерть — бледными, холодными устами.

Он прочитал и проговорил, ни к кому не об-

рашаясь: «Любовь и смерть — вечные темы поэзии». Потом повернулся ко мне: «Конечно, это фантазия. Незрелая. Пиши о том, что сам чувствовал. Довольно гладко написано. Видно, что уже давно пишешь, опыт есть... Слог, рифмы на месте, неплохие...»

Время от времени я показывал ему свои стихи. Он охотно читал их, делал замечания, давал неоценимые советы.

Однажды, в 1892 году, я показал ему новое стихотворение:

Под небом на уступе гор  
Я был раскрывшимся цветком...

Он прочел стихи, еще раз перечел, ласково улыбнулся мне и сказал, легонько похлопывая меня по плечу: «Молодец! Теперь ты — поэт...»

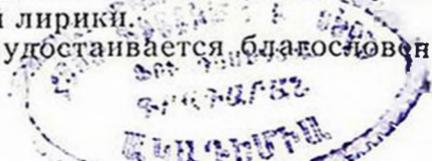
Воодушевленно моему не было границ. Я крепко пожал ему руку и помчался к товарищам.

«Теперь ты — поэт» — эти слова сказал мастер армянской поэзии в 1892 году юноше, которому только что исполнилось семнадцать лет. Поэт раскрылся как будто непронзвольно, сам собой, так естественно и непринужденно, как тот едва распутившийся цветок горных лугов, стихотворение о котором ввело его в круг истинных поэтов. Стихотворение это, получив благословение Иоаннисяна, было в том же году опубликовано в журнале «Тараз».

1892 год — определенный рубеж в жизни Исаакяна. В его до сей поры идиллически протекавшей жизни происходят первые потрясения.

Он влюблен в Шушаник Матакян, но получает отказ от юной героини своей лирики.

В том же году он убоаинавается благословения свое-



Р  
Т  
37400

го учителя и видит напечатанным свое первое стихотворение.

Он принимает решение о поездке за границу и покидает академию.

Течение жизни Исаакяна сразу резко меняется. Из атмосферы родного быта, тихой, мирной созерцательности он вступает в совершенно новую полосу жизни, беспоконную, скитальческую.

В конце жизненного пути, в связи со своим восьмидесятилетием, Исаакян сказал:

Я мечтал всю жизнь провести в Шираке, в доме отца, рядом с матерью и воспеть свой Ширак и его народ. Но эта моя мечта не осуществилась — политические события и преследования забросили меня в далекие от родного дома края.

Конечно, ни поездка в 1892 году в Тифлис, ни поездка в следующем году за границу не имели никакой связи с «политическими событиями и преследованиями», которые, правда, не замедлили вскоре вторгнуться в жизнь Исаакяна, но именно в это время он отрывается от родного Ширака и начинает свои скитания, на многие годы определившие его судьбу.

А пока он приезжает в Тифлис — административный центр Закавказья, центр не только грузинской, но и армянской интеллектуальной и художественной жизни. Здесь он впервые знакомится и сближается с видными деятелями армянской литературы. Начало большой дружбы с Ованесом Туманяном также относится к 1892 году.

К концу ноября или в начале декабря я пошел к Ованесу Туманяну в Кавказское армянское издательство — кажется, он был там делопроизводителем. Не знаю, были ли у него тогда дела или нет, но только помню, что он

всегда был один, никто нам не мешал, и мы часами беседовали.

В тот же день, когда он впервые пришел к Туманяну, он познакомился и с поразившим когда-то его детское воображение Газаросом Агаяном.

В памятный мне день дверь с грохотом отворилась и вошел дородный, плечистый, с проседью человек, в тяжелом пальто, башлыке и валенках. Я его сразу узнал — это был Газарос Агаян. Они обнялись и крепко расцеловались.

И вдруг восемнадцатилетний Исаакян, только что опубликовавший свое первое стихотворение, установивший дружеские связи с крупнейшими армянскими писателями, встречу с которыми он почитал за великое счастье для себя, решает отправиться за границу. В этот раз добровольно.

Чем вызвано это решение?

Прежде всего, желанием продолжить учебу, завершить образование в центрах немецкой культуры и философской мысли, которые по традиции были колыбелью науки для многих армянских писателей и ученых (в Дерптском университете, например, учились Хачатур Абовян, Степанос Назарян, Рафаэл Патканян, Степанос Нерсесян и другие) <sup>1</sup>.

Но была еще одна, «неофициальная», чисто психологическая причина, связанная со сложными интимными переживаниями — его отвергнутой любовью. Спустя годы Исаакян рассказал, заменив имя Шушаник, историю своей любви в очень трогательном рассказе «На могиле». Любимая девушка сближается с другим.

<sup>1</sup> Объяснялось это в значительной степени тем, что поступление в университеты Дерпта и Лейпцига, например, не представляло процедурных сложностей для армян, окончивших школы на армянском языке, тогда как в России требовали аттестат об окончании русской гимназии.

Чтобы не встретиться с ними, я решил уехать в Германию учиться.

Трудно сказать, какая из названных причин оказалась более весомой. Так или иначе в 1893 году юноша-поэт появляется в Вене, где в то время учились будущие крупные специалисты в области армянской истории и литературы — Акоп Манандян и Манук Абемян. В Вене Исаакян работал в публичной библиотеке и слушал лекции.

Можно удивляться тому, как рано наступила зрелость поэта. Восемнадцатилетний гюмриец плодотворно работает в далекой иноязычной стране, приравливаясь к чужим обычаям и условиям жизни.

После полугода пребывания в столице Австро-Венгрии Исаакян пересезжает в другой культурный центр — Лейпциг. Здесь он в качестве вольнослушателя факультета литературы и философии университета посещает лекции известных немецких ученых. Читает Гёте и Гейне, Маркса и Энгельса, Бебеля и Ницше, Штирнера и Дюринга. Душа юноши из глухой армянской провинции с ненасытной жадностью впитывала в себя сокровища мировой культуры. Богатство это, однако, не подавило в нем национальное, народное начало, наоборот — помогло лучше осмыслить и оценить свое, армянское.

Эта особенность с неизменной закономерностью проявлялась на протяжении всей жизни Исаакяна — чем дальше он был от родины, тем сильнее тосковал по ней, чем лучше познавал другие языки, тем сильнее любил родной, чем шире знакомился с другими культурами, тем больше привязанности питал к своей отечественной.

С лета 1893 года (в первый раз Исаакян прожил за границей два года — до 1895-го) стихи поэта создаются в разных европейских городах. В дальнейшем число городов, которые посещает поэт, увеличивается, поскольку он вынужден скитаться по чужим дальним странам. Пока же, в 1893—1895 годах, это только: Вена, Прага,

Дрезден, Лейпциг, Иена, Берлин... Но и теперь, и всегда в дальнейшем в этих прозрачных стихах, как правило, живет образ родины. Просто поразительно — никогда никакой связи в содержании стихотворений с местом, где они писались. Как будто создавались они не в уютных, красивых европейских городах, которые должны были бы поразить юного кавказца, а в Казарапате, Карсе, Апаране или в монастыре Арч.

*В Лейпциге:*

Вот я какой увидел сон!  
У дома, где снешь ты,  
Родник пробился, окружен  
Цветами редкой красоты.

*(Перевод А. Ахматовой)*

*В Саксонии:*

Пахарь, распряги волов —  
Ждет тебя очаг домашний,  
Ты устал, расстанься с пашней,  
Возвратись под милый кров.

*(Перевод К. Арсеновой)*

*В Дрездене:*

От родимой страны удалился  
Я, изгнанник без крова и сна,  
С милой матерью я разлучился,  
Бедный странник, лишился я сна.

*(Перевод А. Блока)*

*В Праге:*

Извивается дорога,  
К морю темному ведет,—

Яр<sup>1</sup> Шушан, меня покинув,  
С юношей другим идет.

(Перевод А. Ахматовой)

В Берлине:

Один я скитаюсь, печален, угрюм,  
И ошупью скорбная дума бредет  
К далекому берегу этой земли.

(Перевод В. Звягинцевой)

Так было всегда, и на заре творческой жизни, и в пору зрелости, до тех пор, пока уставший от вынужденных скитаний поэт в 1936 году не вернулся окончательно на родную землю.

А пока, летом 1895 года, он приезжает на родину, переполненный впечатлениями — повидал мир, познакомился с жизнью и культурой Европы.

Исаакян попадает на родину в тяжелое для нее время. Девятнадцатый век заканчивался для армянского народа кровавыми бедствиями в султанской Турции и гонениями в царской России.

Жизнь армян была взбудоражена страшными вестями о резне западных армян и гнетущими сердце рассказами беженцев — очевидцев резни... Каждого мыслящего армянина одолевали тяжкие думы о судьбе западных армян, всех тревожило разрешение армянского вопроса.

В России царская государственная машина осуществляла программу притеснения армян, как и других малых народов.

Нужно отдать должное армянской интеллигенции, в частности писателям, которые проявили гражданское мужество, протестуя против этих притеснений. В их числе был и молодой Исаакян. В один из дней тяжелого 1896 года он остался ночевать в доме Туманяна.

---

<sup>1</sup> Яр — возлюбленная. — Прим. переводчика.

Было поздно, когда мы собрались спать. Ованес с лампой в руке встал у моей постели: — Не грусти, брат, очень. В конце концов все будет хорошо. Армянский народ пережил времена и похуже. Не отчаивайся, и эта беда минует.

В самом деле, беда миновала, но тяжело отразилась на судьбе народа и его лучших сыновей. Первого мая 1896 года двадцатилетний поэт был арестован в Дилижане и переправлен в эриванскую тюрьму. В это же время, после нескольких месяцев тюрьмы, были сосланы Агаян и Ширванзаде, Агаян — в Нахичевань (вблизи Ростова-на-Дону), а Ширванзаде — в Одессу.

Исаакян пробыл в тюрьме почти год — до 17 апреля 1897 года. Пребывание в тюрьме отражено в рассказах «Курд Амо» и «Байрам Али».

На берегу Занги<sup>1</sup> крестом стоит мрачное здание — это эриванская тюрьма.

Наши камеры помещались в левой части крестовины. Я сидел в одиночной камере и в крошечное оконце смотрел на Арагац, на его сверкающую как кристалл вершину, которая единственно ласкала мой взор.

...Дверь камеры всегда заперта, в ней маленькое отверстие, через которое стража наблюдает за арестантами и передает им хлеб и воду. Через эти отверстия арестанты могли также иногда видеть своих соседей и переговариваться с ними...

Общая судьба объединила всех, горе и страдание сблизили нас. Политический заключенный и уголовный, турок и армянин, курд и ассиронец — мы все стали братьями.

---

<sup>1</sup> Другое название реки — Раздан. — Прим. переводчика.

В этих строках выразился высокий гуманизм и интернационализм поэта, который на протяжении всей своей жизни выступал против национальной ограниченности. Интернационализму, свойственному каждому большому человеку, каждому крупному деятелю искусства, Исаакяна обучали не книги, а сама жизнь — с детства он общался и дружил с людьми разных национальностей. В произведениях, написанных в разное время, он утверждал основанное на собственном жизненном опыте убеждение: не важно, к какой национальности принадлежит человек, важно — какой он человек. Восхищение поэта всегда вызывали люди высокого благородства и достоинства, будь то итальянец («Гарибальдиец»), грузин («Шакро Валишвили»), азербайджанец («Байрам Али»). Важно только, чтобы был он личностью героической, чтобы переживания его были благородны, а характер — рыцарский.

\* \* \*

Страдания, тем более в одиночном заключении, ускоряют процесс возмужания, наступление духовной зрелости. Молодой поэт, удостоившийся высокой и гордой доли «героя, восставшего против царя», собственным примером завоевал нравственное право на звание певца свободы. Автор «Колокола свободы» (1903), призывавший народы Кавказа к борьбе за освобождение, обрел зрелость на основе личного жизненного опыта.

В единстве личного поведения и творчества — огромная нравственная сила. Когда проповедь, призыв к борьбе опираются на собственный опыт автора, они обретают особенную притягательность. Тому великие примеры: Байрон — певец свободы, сложивший голову в борьбе за освобождение греческого народа от турецких варваров; Шандор Петефи — автор патриотических песен, отдавший жизнь за свободу родины; Пушкин и Лермонтов,

характер и поведение которых отразились в образах их свободолюбивых героев; Герцен и Чернышевский, жизнь которых была воплощением их идей. Тому примеры и многие армянские писатели: Налбандян, Абовян, Туманян, Сиаманто, Ваан Терян, чьи творческие идеи были выношены собственной жизнью, страданиями, принятыми во имя этих идей.

В их числе был и Исаакян.

Единство личного и творческого поведения. Одно объясняет другое. Одно дает вес другому. Таков закон. Разлад между поведением и творчеством кладет печать подделки и на одно и на другое.

17 апреля 1897 года поэт был выпущен из тюрьмы, но не был освобожден из-под политического надзора. Оставалось немного времени — чуть больше года — до ссылки в Одессу. Но за один этот год поэт сумел сделать очень многое.

1898 год стал знаменательным в истории армянской поэзии. В Александрополе вышел в свет сборник стихов Исаакяна «Песни и раны».

Поэт с почтительной робостью преподносит свою первую книжку старшим братьям по перу.

Я лично посетил наших прославленных писателей и с благоговением преподнес им свою книжку.

Я отнес книжку Агаяну, а на следующий день пошел к Прошяну. С трепетом поднялся по лестнице. Прошян сидел за письменным столом и писал.

...Перелистав мою книжку, он, точно так же, как это сделал Агаян, обнял меня и поцеловал в лоб. «Ты — народный поэт, — сказал он отечески. — Да, собственно, только таким и мог быть выходец из Ширака.»

Прошян точно определил суть поэзии Исаакяна. Романист с первого взгляда распознал в Исаакяне поэта,

в ком очень сильна народная стихия. Верно было и его объяснение: поэт — выходец из Ширака, где так ярко выражены черты народного характера и народного бытия, — не мог не проникнуться духом этого бытия. Но это было объяснением явления только с одной его стороны. Среда, в которой родилась поэзия, — это только один из факторов, определяющих ее характер.

Другой, не менее важный фактор — время.

О среде — народном быте, людях из народа, окружавших поэта, атмосфере народных песен и сказаний, в которой рос поэт, — мы уже говорили. Рассмотрим теперь другой фактор — время.

Известно, какие горячие надежды связывали армяне с русско-турецкой войной 1877—1878 годов. Для этого были веские основания. Опыт войны между двумя этими странами показывал, что сила русского оружия не раз ставила на колени Турцию.

С начала прошлого века и даже с еще более ранних времен освобождение армян было связано с продвижением русского государства на восток. И в 1878 году — по прошествии полувека после взятия Эривани — Россия одержала безоговорочную военную победу над Турцией. Однако «великие державы» — Англия, Германия, Франция, с враждебностью следившие за продвижением русских войск, не хотели допустить укрепления могущества России и с помощью коварной дипломатической игры свели на нет успехи русского оружия и вместе с ними похоронили надежды армянского народа. Что значило для «железного канцлера» Бисмарка принести в жертву в этой карточной игре не только жизненные интересы, но само существование какого-то малого народа? Или для лорда Биконсфильда, получившего от турок взамен, в качестве взятки, остров Кипр?

Это совершилось в 1878 году на Берлинском конгрессе. Не случайно министр иностранных дел России Горчаков считал, что этот конгресс, похитивший плоды рус-

ской победы, «самая черная страница» в его карьере. А в армянской истории это была если не самая черная — ибо и до и после были столь же и более черные, — то одна из таких черных страниц. Вот почему спустя много лет английский премьер-министр Ллойд Джордж в своей книге воспоминаний счел нужным сделать такое признание: «Если бы не наше злосчастное вмешательство, большая часть армян еще в 1878 году по условиям договора в Сан-Стефано оказалась бы под защитой русского знамени»<sup>1</sup>.

Зачем нам понадобилось это историческое отступление? Затем, что крупные события, совершающиеся в жизни народа, оказывают непосредственное воздействие на его духовную культуру, а следовательно, и литературу.

Крушение романтических упований армян привело к крушению и их романтической литературы, особенно поэзии. Народ и его певцов как будто окатили холодной водой, наступило горькое отрезвление. Знаменосцу боевой романтической поэзии Рафаэлу Патканяну ничего не осталось, как горько сетовать:

Скорбь нашей души, нашу боль и печаль,  
Горькие наши слезы  
Не увидел никто, никто не почувствовал —  
Просвещенная Европа осталась нема и глуха.

*(Перевод подстрочный)*

В литературе, неизбежно отражающей сдвиги в общенациональной жизни, наступило время крушения романтических иллюзий и утверждения реалистического подхода к действительности, проникновения в быт и психологию народа, укрепления духа народности. Романти-

---

<sup>1</sup> «Правда о мирных переговорах», т. II. М., Издательство иностранной литературы, 1957, стр. 390.

ческая борьба, романтические призывы и проповеди потеряли почву под ногами. Возникла новая почва, родились новые потребности. Аудитория ждала нового слова.

Вот почему такой большой успех выпал на долю сборника стихов Иоаннеса Иоаннисиана, который увидел свет в 1887 году. Сборник этот проникнут не романтическими призывами, а народными мотивами, старинными преданиями, фольклорным стилем и духом. Это была поэзия нового качества.

Стихи, кажущиеся сейчас такими традиционными, такими привычными, в свое время поразили свежестью и неожиданностью — и по форме и по содержанию. Книга Иоаннеса Иоаннисиана была новым словом в армянской поэтической культуре. Она обозначила новый этап в развитии национальной поэзии.

Спустя годы Ованес Туманян дал сжатое и исчерпывающее объяснение. «Развитие восточноармянской поэзии имело три этапа, — сказал он в 1917 году, обращаясь к молодым писателям. — Начало первому этапу положил в 1857 году студент Рафаэл Патканян своей книжкой «Национальный песенник»; начало второму этапу, спустя тридцать лет, — студент Иоаннес Иоаннисиан своей опубликованной в 1887 году книгой стихов; начало третьему — также спустя тридцать лет и тоже студент — Ваан Терян своей книгой «Грезы сумерек», увидевшей свет в 1908 году.» И затем: «...как видите, я попадаю во второй период и стою на рубеже старого и нового. У меня были друзья среди писателей первого этапа развития армянской поэзии и есть близкие мне люди среди новейших писателей. Это показывает, насколько молода наша поэзия — один человек может иметь товарищей и среди старых, и среди новейших писателей...»

Исаакян, непосредственным предшественником которого был Туманян, также поэт второго, дотеряновского периода развития армянской поэзии. Он вслед за Иоаннесом Иоаннисианом и Туманяном неуклонно шел к по-

стижению жизни народа, народного языка, его живых интонаций, слога, вплоть до диалектизмов.

Это то языковое мышление, та интонация, которые свойственны человеку из народа — и именно ширакцу. Точно так же как в звучании ранних стихов Туманяна слышался говор крестьянина-лорийца. Туманян и Исаакян внесли в поэзию краски и аромат своего края. Иначе и не могло быть, ибо они — дети не Армении вообще, а определенных ее провинций, имеющих свое лицо, свои специфические черты. Даже позднее, когда язык их поэзии кристаллизовался как единый восточноармянский литературный язык и творчество их стало явлением общенациональным, в их произведениях эти специфические краски не исчезли.

Уместно будет напомнить еще одно обстоятельство, чтобы, опять-таки с помощью Туманяна, понять место и роль Исаакяна в армянской поэзии.

Туманян, охватывая взглядом армянскую литературу, приходит к следующему заключению: судьба армянского народа на протяжении веков — это участь гонимых странников, изгнанников — пандухтов. Такова же и его литература — создаваемая на чужбине, оторванная от родной земли. Патканян и Шахазиз жили на севере — в новой Нахичевани и в Москве; Пешикташлян — на берегах Босфора; Алишан — в Венеции... Они жили и творили вне родины. Они писали вдохновенные патристические песни, но, по существу, родины не знали. Они не могли наблюдать жизнь собственно Армении, быт, нравы живущего там народа. В этом, конечно, была не вина их, а беда. Патканян, например, в стихотворении «Армянское вино» писал: «Армянская девушка собирала [виноград], Нежными руками выжимала», тогда как, — отмечает Туманян, — «у армян вино готовят мужчины, давя виноград ногами, и «нежные руки» армянских девушек здесь совсем ни при чем».

Этот и другие примеры Туманян приводит для того,

чтобы показать: Патканян, чьи «Свободные песни» были сильны героической романтикой и увлекали своим патристическим духом и освободительными идеями, в изображении народной жизни, которой он не знал, был малоубедителен.

Совершенно иначе обстоит дело у так называемых «отечественных» писателей, проживавших на родной земле. Им не было нужды изучать образ мыслей, нравы, быт народа, они знали его как свои пять пальцев, потому что наблюдали жизнь его изнутри — сами были пастухами и подпасками.

Исаакян, как и Туманян, представлял именно эту литературу.

«Все твердо знают лишь одно — у них несчастная, обездоленная родина. Но что представляет собой эта родина, в чем ее беда, как живет, как говорит, как плачет и радуется и проч. и проч. ее народ? ...Только тот, кто обладает этим знанием, этим преимуществом, может заслужить имя народного поэта. В противном случае он будет только поэтом-армянином, а не армянским поэтом», — так писал Ованес Туманян в конце прошлого века, четко проводя водораздел между национальным и истинно народным поэтом. Он считал, что народными могут быть только «отечественные» писатели, те, чье творчество развивается на родной почве, кто не оторван от своей земли, от народа, а живет одной с ним жизнью.

Исаакян знал, что такое родина, как говорит, чувствует его народ, как он радуется и особенно как он плачет и стонет.

Оплачь мое горе, сымбул-трава,  
И вы, полевые цветы...

*(Перевод М. Павловой)*

И вместе с тем какое безукоризненно точное ощущение родного края, какие до осязаемости яркие картины

природы Ширака, какой ясный, прозрачный язык — действительно поэзия, проникнутая духом отечества, истинно народная поэзия. Не втупе прозвучали слова, мимоходом брошенные Перчем Прошняном: «Ты — поэт народный...»

Книжка Исаакяна «Песни и раны» подтвердила это. И нужно отдать должное тогдашней критике — она сразу заметила и верно оценила ее. Критика без колебаний высказала мнение, что в первой книге двадцатитрехлетнего поэта «и в области формы чувствуется рука мастера». Исаакян сразу, уже при вступлении своим на литературное поприще, обнаружил владение высотами поэтической культуры. Он не был начинающим, не был учеником и подмастерьем. Многие стихотворения из книги «Песни и раны» он включал во все свои дальнейшие издания, не изменив в них ничего. В этом не было необходимости, потому что дышащие непосредственностью и простотой стихи эти явились совершенным выражением поэтического мышления автора. В них заключено то высшее мастерство, когда мастерства не замечаешь, когда не видны муки творчества: кажется, будто строки родились сами собой, без усилий и труда, без лихорадочной работы мысли.

В первой же статье, появившейся в связи с выходом первой книги стихов Исаакяна, было верно отмечено главное свойство поэта — народность, то, что он может чувствовать как народ, жить его сердцем. А это значит: в сходных душевных состояниях переживать те же чувства, что и человек из народа. Любите ли вы или ненавидите, скорбь ли в вашем сердце, оплакиваете ли вы утраченную любовь или полны умиления, но если чувствуете то же, что чувствует в этих обстоятельствах человек из народа, значит, вы чувствуете как народ и, следовательно, ваши песни, оставаясь вашими, — народные.

Можно ли удивляться тому, что народ — кто-то из

неведомых талантливых представителей его — взял стихи Исаакяна и сочинил к ним прекрасные мелодии, не испрашивая на то разрешения автора. Это произошло так естественно и произвольно, что никто и не задавался вопросами: кому принадлежат стихи, кто сочинил музыку? Как будто у них один автор и мелодии родились вместе со стихами. Такой популярности, какую завоевал в народе Исаакян, не знал ни один другой поэт Армении. И этой популярностью он был обязан уже первой своей книге. В ней выразилось все то, чем славен поэт у себя на родине и чем он завоевал звание великого мастера поэзии за пределами своей страны.

\* \* \*

Аветик Исаакян — величайший лирик в армянской поэзии. В такой оценке нет ни юбилейного славословия, ни претензии на открытие. Это признано давно и неоспоримо. В этом убеждает не только то, что стихи поэта стали народными песнями и сопровождают нас в нашей повседневной жизни с колыбели и до самой смерти. Лирический элемент в поэзии Исаакяна определяется тем огромным эмоциональным богатством, которое заложено в его стихах. Бурные порывы сердца, печаль и муки обманутой любви, страстная тоска по недостижимому идеалу, потоки нежности и благоговейного восторга перед любимой, благородство и трогающая душу гуманность чувства — все эти оттенки настроений и переживаний воплощены в удивительно естественной, безыскусной, совершенной и изящной поэтической форме.

Любовь в поэзии Исаакяна — не один из мотивов, а центральный стержень ее, ось, на которой держится все, о чем бы он ни писал. Любовь не только к женщине, а любовь как источник жизненной гармонии, как миро-

ощущение, если хотите, даже как мирозерцание, как эстетический идеал. Что необходимо для писательства? Наблюдать, исследовать, познавать, но Исаакян прежде всего говорит: «любить». «Нужно только любить, видеть, наблюдать, проникать, чувствовать, волноваться — и воссоздать материал в искусстве». В этом весь Исаакян. «Меряйте любовью — пусть она будет единственной мерой для вас» — вот его кредо. Это назидание высказано мастером Каро (героем одноименного романа), который убежден, что мир без любви не стоит дыма его трубки.

Любовная лирика Исаакяна — не «собственно» любовь, а естественный сгусток его мироощущения в любовных песнях. И всегда с печатю собственного жизненного опыта, эстетического кредо, индивидуального характера. Поэтому любовная лирика Исаакяна неповторима, его голос не спутаешь ни с кем. Ни с его ближайшими предшественниками — Иоаннисаном и Туманяном, ни с наследниками — Теряном и Чаренцем, хотя был период — в начале нашего века, — когда они творили в одно и то же время и в одной общественной атмосфере. Любовная лирика Исаакяна более чувственна, чем у его предшественников, но совершенно лишена болезненности, тенденции к эстетизации и тем более к утонченной изысканной прозе, следы которой есть у следующего за ним поколения поэтов. В армянской поэзии это все были явления более поздней поэтической культуры, отразившей влияние символической и даже декадентской поэзии. Автору «Песен и ран» все эти веяния оказались совершенно чуждыми. Он был уже прославленным поэтом, когда на литературной арене появились Терян, а затем Чаренц и оставался действующим поэтом, когда его младших собратьев по искусству уже не было в живых.

Сын патриархальных и религиозных родителей, выросший в атмосфере сельского быта, преданный класси-

ческой и народной поэзии, Исаакян никогда не позволял себе относиться с иронией ни к собственному чувству, ни к предмету своей любви. Лирический герой Ваана Теряна в «Кошачьем рае» (ирония кроется уже в самом названии) мог говорить торжественно-иронически:

О сударыня! Можно ли не любить Вас?  
Не покоряться Вашей воле?  
Не молиться на Вас  
Покорно и нежно.

*(Перевод подстрочный)*

Так говорит он и признается, что «болен и безумен» душой. Это в самом деле искусственная любовь, немощная и холодная, которая может предстать так:

Когда явились Вы мне,  
Как некий призрак,  
И сели мы, бесстрастно  
Обняв друг друга...

*(Перевод подстрочный)*

Литературовед Сурен Агабабян, который видит в цикле Чаренца «Ваш эмалевый профиль» (другое название — «Галантные песни») продолжение этой тенденции, характеризует ее так: «Хилые чувства и напудренные лики, бесцветные переживания и бесплотные маски... ничтожные желания, салонная приторная слащавость и грим, словом, пышность, прикрывающая духовную нищету,— вот особенность анемичной любви того времени».

А проживавший в это время (в 1920 году) в Западной Европе Аветик Исаакян оказался в стороне от этого течения, хотя, кажется, имел больше оснований писать «галантные песни». Но писал их Чаренц.

Этот профиль, как с эмали,  
И сафиры Ваших глаз —  
Как де Лиль безвестный, Вас  
Я воспеть смогу едва ли.

*(Перевод М. Павловой)*

Влияние новейшей европейской поэзии сказалось в творчестве никогда не бывавших в Европе Тержана и Чаренца (Туманян удивлялся, почему Тержан, покинув свой родной Джавахк, мысленно странствует в предместьях Парижа), а Исаакян, получивший образование в Европе и знакомый с ее поэзией в подлинниках, избежал ее воздействия. Его не вдохновляли поэты, далекие от народного мышления, их эстетика, которую сжато выразил Теофиль Готье:

Стремись, художник, к высшей цели:  
Сменить тебе не будет жаль  
Блеск акварели  
На печь, где плавится эмаль.

*(Перевод В. Брюсова)*

Жизнь — до конца прошлого века — в атмосфере здорового крестьянского быта в деревне и в глухой городской провинции у юноши Исаакяна породила идеал любви, связанный с этим образом жизни, ограниченный ее пределами. Восемнадцатилетний поэт воспевает сельскую идиллию, его увлекает простодушная, бесхитростная любовь крестьянки.

Пахарь, распряги волов —  
Ждет тебя очаг домашний,  
Ты устал, расстанься с пашней,  
Возвратись под милый кров.

Сливки к ужину готовы,  
Остывают в кувшине,  
Фартук праздничный, пунцовый  
Нынче вечером на мне.

Под садовою оградой  
Ложу постлано для сна.  
Там овеет нас прохладой,  
Ночью озарит луна.

Видишь, тучи солнце скрыли;  
Поскорей вернись домой.  
У орла займи ты крылья.  
Жду тебя, желанный мой.

*(Перевод К. Арсеновой)*

Так обращается крестьянка к возлюбленному. Исаакян не хочет, чтобы в этом диалоге участвовал кто-то третий. И если он кого-то и делает посредником между любящими, то только распахнувшую им свои объятия щедрую природу.

Был бы на Аразе у меня баштан —  
Посадил бы иву, розы я да мак,  
Под теннстой ивой сплел бы я шалаш,  
В шалаше бы вечно пламенел очаг!

Чтоб сидела рядом милая Шушан,  
Чтобы нам друг друга у огня ласкать!  
Кабы на Аразе завести баштан,  
Для Шушик лилейной отдыха не знать!

*(Перевод А. Блока)*

Человек с его любовью и природа. Больше никого и ничего. Влюбленный герой Исаакяна знает, что любое вмешательство таит опасность, грозит бурей. Среди немногих стихотворений, воспевающих радость удовлетворенной любви, есть два, где поэт как бы хочет оградить любовь от вторжения «страшного мира», от надвигающейся беды, от незваной гостьи — вмешательства третьей силы. Но герметически обособленное существование невозможно, немислимо вообще. Вторжение «страшного

мира» неизбежно, и любовный диалог обрывается, открывая выход бесконечной любовной тоске:

О нежный ветер, звездный свет,  
Где яр мой в эту ночь?  
О звезды, вас прекрасней нет,  
Где бродит яр всю ночь?

Рассвет настал и в дверь вошел,  
Туман и дождь идет.  
Ал-конь пришел, один пришел.  
Ах, яр домой нейдет!

*(Перевод А. Блока)*

Это вторжение «страшного мира» — конь вернулся домой без седока.

Темны просторы немой земли,  
Покинутый, плачу я!  
Отняли милую, увел,  
Отринутый, плачу я.

*(Перевод В. Звягинцевой)*

Грубая сила жизни превращает порой идиллическую любовь — в трагическую:

А дорога к бездне муки,  
К морю темному ведет.  
Яр в крови омыла руки  
И к венцу с другим идет.

*(Перевод А. Ахматовой)*

Мрак затопляет сердце отвергнутого влюбленного, ему остается неутешно оплакивать свою судьбу:

Я на вершинах синих гор  
В потоке слез любовь топил.

Холодный ветер с выси гор  
Крылом рыданья подхватил.  
И всюду плач мой узнаю —  
Летит он сквозь ночную тьму.  
Стучится ветер в дверь твою,  
Но ты всегда глуха к нему...

*(Перевод В. Рогови)*

Есть одна особенность у исаакяновского героя-влюбленного — его ропот и возмущение всегда обращены против «страшного мира» и никогда против возлюбленной, даже если он знает, что она причастна к беде, обрушившейся на него. Увели от него возлюбленную, «оторвали от сердца» — «что за проклятый мир», и никакой обиды на возлюбленную. Любимая отвергла его, а он смиренно ропщет:

Говоришь мне: «Ступай, не неволь!»  
Но куда, близ кого притулиться?  
От тебя эта жгучая боль,  
От тебя лишь могу исцелиться.

*(Перевод Д. Самойлова)*

Благородство и гуманность чувства составляют особенность всей любовной лирики Исаакяна. В ней выразился характер, близкий лирическому герою Саят-Новы, который, будучи отвергнут любимой, продолжает боготворить ее. Исаакяновский герой тоже никогда не питает зла к отвергнувшей его любовь женщины:

В закрытые двери, как ветер бездомный,  
Стучал я, но ты не открыла мне двери.  
Я бросился в горы, я плакал, безумный,  
О горе, как небо о высохшем древе.

Я бился о скалы, и ведомо скалам,  
Что я был свободен от помысла злого.  
Я плачем ущелья потряс, как обвалом,  
Но я не промолвил недоброго слова.

*(Перевод Б. Ахмадулиной)*

В другом стихотворении лирический герой взывает к морю:

...Прошу: мою бедную мать научи,  
Чтоб яр бессердечную не проклинала.

*(Перевод Б. Ахмадулиной)*

Лирический герой Исаакяна — человек, дарующий любовь, а не требующий, домогающийся ее. Женщина в его стихах всегда «могущественна», она — «царица», гордая, достойная поклонения. Если он и осуждает ее когда-нибудь, то как жертва.

Сегодня пир большой у вас,  
Как роза алая, горда,  
Средь знатных юношей сейчас  
Горнись, моя звезда.

И снег и ночь там, за дверьми.  
И мой ты слышишь плач.  
Ты в алом платье, как палач,—  
То кровь моя — пойми!

*(Перевод Н. Павлович)*

В лирике Исаакяна слышен голос истинного чувства, в ней нет ничего, что напоминало бы «галантные песни», салонные настроения, иронические интонации. В ней нет изощренности, чрезмерного внимания к внешней отделке стиха. То, что Исаакян остался глух к модным веяниям, объясняется его приверженностью к народной стихии в искусстве. Лучше всего об этом сказал он сам:

Я в раннем возрасте (в восемнадцать лет) приехал в Европу учиться, но ни на один день не воодушевился поэзией Шарля Бодлера, которая действительно была «цветами зла». Меня увлекали поэты, в поэзии которых были элементы национальные, фольклорные,— Гейне, Гёте, Роберт Бёрнс...

Из этих слов, однако, не следует, что лира Исаакяна черпала вдохновение исключительно только в фольклоре и в народном быте. Это не так. И учился он поэтическому мастерству не только у народных певцов — ашугов и гусанов. То, что Исаакяна не коснулись новейшие европейские веяния в поэзии, отнюдь не означает, что он прошел мимо мировой поэтической культуры, — свидетельство тому не только его высказывания о Гёте, Гейне, Пушкине, Лермонтове, Шевченко, но и его творчество, в частности его любовная и философская лирика.

В любовной лирике Исаакяна, рядом со стихами, лирическими героями которых являются влюбленные крестьянин или крестьянка, есть множество других, где в образе лирического героя выступает сам автор («Я уподобил сердце небу...», «Погляди, сестра, погляди...», «Я роскошный вселенной плод...», «Да, я знаю, всегда есть чужая страна...», «Душа — перелетная бедная птица...», «Шел бедуин и в мираже печальном...», «Песни греха и покаяния...», «Сердце мое на вершине гор...» и др.). Эти две линии (разумеется, это разделение условно) в творчестве Исаакяна развиваются параллельно на протяжении всего его пути. Образ лирического героя в этих двух потоках — разный и вместе с тем один и тот же, как бывают разными, но не исключают друг друга изображения одного и того же человека. Героев объединяет страстное стремление к возделенному и недостижимому идеалу, неутолимая тоска, искренность и благородство чувства к возлюбленной, преклонение перед нею. Разделяют: форма выражения чувства, уровень мышления, глубина философского осмысления жизни и любви.

Один — простодушный крестьянский парень, с непосредственностью и откровенностью его чувствований:

Буду жертвой твоей, только дверь мне открой,  
Перед домом твоим я задумчив стою.  
Пусть сиянье твое заблестит предо мной,  
Черен мир над поникшей моей головой.

Ты сожгла мое сердце огнями очей,  
Дай хоть каплю воды истомленным устам,  
Ты изранила сердце мечами бровей,  
Дай лекарство для раны жестокой моей.

На вершинах для тучи приветливый дом  
И пещера скалистая — ветра приют.  
Но куда же деваться мне в горе таком.  
Дверь открой, я умру на пороге твоём.

*(Перевод А. Ахматовой)*

Другой — душа сложная, утонченная, человек большой духовной культуры. Как ни глубоко его горе, жесты его сдержанны. Он не возвысит голос, не будет кричать: «Оплачь мое горе, сымбул-трава». Он говорит шепотом, в раздумчивости, как бы с самим собой:

Из жизни всей  
Два аромата  
С давнишних дней  
Доныне святы;  
Я ликовал,  
От слез шалея.  
И обожал,  
Не вождедея.

*(Перевод  
Б. Пастернака)*

Здесь не открытость, непосредственность народного характера, в котором говорит только логика сердца, а самоуглубленность личности, достигшей высшей мудрости, мысли и переживания которой выражаются посредством сложных ассоциаций. Эмоциональная напряженность, свойственная лирике Исаакяна вообще, в стихах этого рода сочетается с глубоким философским осмыслением жизни, с тонкостью в передаче настроений, с изяществом стиха:

Да, я знаю, всегда есть чужая страна,  
Есть душа в той далекой стране.  
И грустна и, как я, одинока она.  
И сгорает и рвется ко мне.

Даже кажется мне, что к далекой руке  
Я прильнул поцелуем святым,  
Что рукой провожу в неисходной тоске  
По ее волосам золотым...

*(Перевод А. Блока)*

И лексика, и образ мышления здесь другие.

Шел бедунн, и в мираже песчаном  
Тень девушки мелькнула перед ним.  
Он весел был, а сделался печальным.  
В тень девушки влюбился бедунн.

Его пустыня зноем истерзала,  
От лютой жажды рот его иссох.  
Он любит высоко и несказанно  
И умирает, пав лицом в песок.

Забывшись невещественным и вечным  
Глубоким сном, кто знает — сколько лет  
Все ищет он в пространстве бесконечном  
Бессмертно грациозный силуэт...

*(Перевод Б. Ахмадулиной)*

Сравните, например, только что приведенное стихотворение с другим (они как будто об одном — о вечном стремлении к идеалу и о недостижимости его):

Видит лань — в воде  
Отражен олень.  
Рыщет лань везде,  
Ищет, где олень.

Лани зов сквозь сон  
Услыхал олень.

Рыщет, ищет он,  
Ищет ночь и день.

(Перевод А. Блока)

На равных как будто существуют два разных стиля, два разных лирических героя. Все было бы очень просто, если бы они находились в ясной последовательности один по отношению к другому, если бы можно было сказать: вот один Исаакян, в народном, фольклорном стиле отразивший в образе лирического героя, с его первозданными, непосредственными чувствованиями, народное, крестьянское бытие и мышление, и вот другой Исаакян, в глубоко индивидуальном, самобытном стиле которого ощущается поэт, прошедший большую школу мировой поэтической культуры. Оба эти стиля, оба эти героя «существовали», жили в Исаакяне одновременно — с начала его творческого пути и до его конца (в 1893 году написаны «Я роскошный вселенной плод...» и «Извивается дорога...», в 1940 году — «Безмятежная ночь! Один я сижу...» и в 1941 году — «Бингёл»).

Объяснение этому, очевидно, нужно искать в том, что внутреннее поэтическое богатство Исаакяна «не умещалось» только в том или ином ключе. Сочетание народного и субъективного, индивидуального и есть Исаакян как поэтическое явление в целом. Произведения в чисто народном духе не могли вместить в себе все его личные, полные глубокого философского смысла раздумья о вселенной, о мире, о любви и природе, о человеке и обществе, не могли стать приложением тех богатств поэтической культуры, которые были восприняты им у классиков поэзии армянской и других народов. Но не могли остаться втуне и те богатства фольклора, народного поэтического мышления, которые он впитал с детства и которые очень высоко ценил.

Своеобразие и оригинальность армянской народной

поэзии с наибольшей силой выразились в воспевании любви и природы. В. Брюсов писал: «Народная армянская поэзия принадлежит к числу наиболее замечательных среди всех, какие мне известны: немногие народы могут гордиться, что их народные песни достигают такого же художественного уровня, так изысканно пленительны, так оригинально самобытны, при всей их непосредственной простоте и безыскусственной откровенности». Эта традиция ощутима не только в стихах, представляющих собой вольную обработку фольклорных мотивов или написанных в чисто народном духе, но и во всем поэтическом наследии Исаакяна.

У Исаакяна очень немного стихотворений, к которым он сам дал комментарий. Одно из них — «Полюбил я — отняли яр...». «Я собственно не написал его, а спел, гуляя в поле под Одессой, на мотив одной народной песни, а потом только перенес на бумагу». Народная мелодия и подсказала стиль вещи. В 1898 году поэт действительно переживал муки отвергнутой любви. И вообще все его лирические стихотворения имели реальный повод, в их основе всегда лежит действительный факт, реальные переживания. Если он в октябре 1904 года писал:

Погляди, сестра моя, погляди,—  
Ранен в сердце я, тяжким окутан мраком.  
Исцели эту рану в моей груди,  
Ах, утешь меня! Я так много плакал...—

*(Перевод В. Звягинцевой)*

то, как это видно из его писем к Анне Матакян, он действительно переживал эти чувства. Он писал ей: «Нужно утешать обездоленных, дарить им тепло»; «Я боготворил, любил святой, вечной любовью одну из вас, из-за нее я столько страдал и плакал, что слезы в сердце моем еще не иссякли» (речь идет о Шушан, старшей сестре адресатки); «Я только сейчас немного приободрился, благодаря

тому высокому, святому делу, во имя которого живу и работаю, — делу родины...»; «Пусть мир клеветет на меня и бросает в меня камнями, ты верь мне...»

Когда в 1925 году поэт писал в Венеции:

Раскачивая яхонты в ушах,  
Та девушка взошла на мост Рнальто,  
И волосы, словно река впотьмах,  
Были черны, черны невероятно,—

он действительно встретил прелестную итальянку, которая взволновала его, напомнив пережитое.

Мой взгляд не вынес черного огня,  
Потутился я в робости великой,  
Когда она взглянула на меня  
С неясной, вечно женственной улыбкой.

Мой — опыт мук, твой — опыт красоты,  
Я не наивен, ты не вшивата.  
Такая ж чернобровая, как ты,  
Как ты, смотрела на меня когда-то...

*(Перевод Б. Ахмадулиной)*

Это действительно пережитые настроения и чувства, благодаря чему стихотворение дышит искренностью, достоверностью, правдивостью и обретает эстетическую ценность. И хотя не всегда можно точно установить повод, по которому написано то или иное стихотворение, всегда угадывается истинное чувство, лежащее в его основе, как в живописи специалисты всегда отличают подлинник от подделки. Таково было убеждение Исаакяна. Когда его младший брат по перу Рачия Ованесян спросил: «Варпет, можно ли написать стихотворение о не пережитом, без волнения, а так, по одному хотению?» — Исаакян ответил: «Почему же нет. Пишут. Теперь вы так много пишете. Не выношенное, не пережитое сразу ощу-

щается в стихотворении. Это никудышные стихи, ничемные. У меня таких нет».

В этих словах выражено почти дословно то же, что сказал любимый Варьетом мастер — Гёте: «Все мои стихи — стихи «по поводу», они навеяны действительностью, в ней имеют почву и основание. Стихи, не связанные с жизнью, для меня ничто».

\* \* \*

В то время как на небосклоне армянской поэзии загорелась новая, первой величины звезда, на горизонте армянской политической жизни сгущались тучи. В 1896 году наместником Кавказа стал князь Голицын, который в 1897 году назначил Величко главным редактором официальной газеты «Кавказ». Оба были известны своими реакционными взглядами. Политику царского правительства на Кавказе — политику притеснения кавказских народов и разжигания вражды между ними — они проводили с особенным рвением. Для того чтобы принудить народ к покорности и лишить его прав, первый удар наносится интеллигенции и учреждениям, охраняющим мысль и дух народа, — школе и печати. Национальные школы закрываются, аресты и ссылки даже по самым незначительным поводам становятся обычным явлением. В ходу в ту пору была так называемая «свободная» высылка — на небольшой срок и не в Сибирь или на север, а в сторону жаркой Одессы. Так в начале 1898 года, по предписанию царской жандармерии, Исаакян был выслан на год в Одессу...

Поздние отголоски пребывания Исаакяна в Одессе — рассказы «Гарибальдиец» (1907) и «Литературная зависть» (1925). Первый — о геронческой жизни и трагической судьбе бывшего солдата армии Гарибальди — Джованни; второй — одна из немногочисленных юморесок поэта.

Поэзия Исаакяна обязана Одессе больше, чем его проза. И дело не в количестве. Всего в Одессе написано было чуть больше десятка стихотворений, но в их числе — несколько шедевров, занявших достойное место в «Избранном» поэта. Стихи эти, написанные в чисто народном стиле, — «Укрыли тени черных туч//Твою вершину, Ала-гыз...», «Полюбил я — отняли яр...» — были переложены на музыку безымянными композиторами и получили затем широкое распространение как народные песни. Здесь же, в Одессе, было создано замечательное стихотворение, где поэт впервые с большой силой осудил социальную несправедливость:

Пьет и пирует лишь тот, кто богат,  
Сытно ему в этом мире огромном,  
Вас же, как пасынков, знать не хотят,  
Нет нам приюта, гонимым, бездомным.

Сердце свое надрывает бедняк, —  
Мертвой земли не ослишь лопатой,  
Хлеб на камнях не родится никак,  
Хлеб у земли отбирает богатый.

*(Перевод Н. Стефановича)*

Гневный протест против несправедливого устройства мира, который разбудили в душе ссыльного поэта острые социальные противоречия большого портового города, получает поэтическое воплощение.

Возмущение несовершенством мира с этого времени постоянно сопутствует его творческим вдохновениям. Это важно помнить и не сводить тематику поэзии Исаакяна только к воспеванию любви и природы.

В Одессе Исаакян впервые услышал имя М. Горького.

Однажды, в 1899 году, когда я бродил среди шумной толпы огромного одесского порта, передо мной вдруг гордо встал босяк с интеллигентным лицом и, протянув руку, сказал:

— Помогите, ради Горького.

Я впервые услышал имя Горького и подумал: «Видимо, это новый святой». Спрашиваю его: «Кто это — Максим Горький?»

— Это наш поэт, наш товарищ, наш философ, — отвечает он.

В тот же день я покупаю два тома Горького и начинаю читать. Читаю с увлечением и вновь перечитываю. Мне кажется, что Горький писал для меня... Я бродил вместе с героями Горького по просторам России — по Волге, Крыму, берегам Черного моря, Молдавии. Особенно привлекала меня Волга. В ее широких степях... находили приют свободолюбивые и непокорные люди, все те, кто восставал против гнета и насилия феодалов, помещиков и царей...

Одесса оставила след на поэтических образах Исаакяна. Жизнь вблизи моря, впечатления от незнакомой ранее морской стихии сказываются в его поэтических созданиях этой поры («Хотелось сердце спрятать мне// Во мраке моря в глубине...»; «У моря велика душа,// Все тайны в нем погребены.// Все выслушает не дыша,// Взволнуется из глубины...»; «Там где-то толпа океаном шумит.// Прилив ее слышится тяжкий, густой»; «Измучено море, и пена...»).

Исаакян доверяет бумаге только то, что пережил сам.

После года пребывания в Одессе поэт пускается в обратный путь.

1899 год Исаакян проводит в Александрополе, дома, в родной семье. Но и здесь не находит покоя неугомонная душа поэта. Это видно из его ответа на письмо, полученное им из Парижа от видного западноармянского поэта и филолога Аршака Чопаняна. Письмо Чопаняна не сохранилось, но из ответа ясно, что Чопанян выражал же-

лание привлечь Исаакяна к сотрудничеству в издаваемом им ежемесячнике «Анаит».

В письме Исаакян открывает душу перед далеким собратом с той предельной искренностью, которая, как мы увидим, была свойственна вообще его эпистолярному наследию.

Куда мне идти, что делать? Вот занимающие меня вопросы... Несколько лет назад я был в Европе, потом вернулся на родину—на Кавказ, где был арестован в связи с армянской тяжбой (с царским правительством). После года тюрьмы отправили меня в ссылку — целых три года я был под полицейским надзором, был связан по рукам и ногам. Недавно только я освободился и вернулся домой. И снова передо мной вопрос: куда деваться, что делать? Очень меня это мучает. Пока не могу остановиться ни на одном решении, а сколько времени потеряно — надо наверстать упущенное... Но как? Хватит ли у меня средств — хотя бы только материальных — снова уехать в Европу, чтобы продолжить учебу, пока еще молод? А если нет? Что делать здесь, на Кавказе, где нет никакой жизни, никаких духовных интересов?..

...А наши армянские писатели!.. Бедные!.. Горькая нужда, забота о хлебе насущном, равнодушные публики, гонения, притеснения со стороны правительства... Честно говоря — нет сил жить.

Что тут делать?.. Вопрос этот меня совершенно парализовал. Я в отчаянии и чувствую себя потерянным — и для себя, и для других...

На нас давит какой-то рок, мы едва можем дышать. Ваше счастье, что Вы живете среди просвещенных людей, в мире мысли...

Я сделаю здесь родным сыном черни и

непременно окаменею — стану каменным коло-  
колом, у которого нет голоса, который мертв и  
нем и не может возвестить идею величия и сво-  
боды.

Человеку, незнакомому с биографией Исаакяна, мо-  
жет показаться, что не было в его жизни более мрачных  
дней — крайнее отчаяние, никаких надежд, никаких упо-  
ваний.

Между тем это не так. Более того, окидывая взглядом  
жизненный путь поэта, можно убедиться, что годы на  
рубеже двух веков были лучшей порой в жизни молодого  
Исаакяна.

Чем же объясняется этот парадокс? Двумя причина-  
ми. Одна из них заключалась в том, что душа поэта  
была слишком беспокойна, требовательна, неутолима —  
все, чем он располагал, то настоящее, которым он жил,  
и те перспективы будущего, которые открывались перед  
ним, представлялись ему бесконечно малыми и тесными  
в сравнении с заложенными в нем возможностями и  
стремлениями. То, что могло бы удовлетворить многих,  
в его глазах было мелким, незначительным. Удивительно  
вообще устроен человек: он всегда недоволен настоящим,  
не задумываясь о том, что несет ему грядущее. Но на-  
ступает более тяжелая пора, и прошедшее вспоминается  
уже с удовлетворением и благодарностью.

Жизнь Исаакяна, к несчастью, сложилась именно так.  
Но это было судьбою не одного его, но и всего народа.  
Можно ли их разделить, эти две судьбы?

Да, действительно, в 1899 году у поэта есть основа-  
ния роптать:

Армянские школы закрыты, библиотеки-чи-  
тальни закрыты, литература преследуется —  
чем воодушевляться?

Но все эти беды померкли перед наступившими позднее  
бедствиями — кровавый ужас межнациональной вражды  
1905—1906 годов, которую разожгло царское правитель-

ство среди народов Закавказья, арест 1909 года, бегство за границу, затем первая мировая война 1914 года, потом резня армян в Турции 1915 года... Трагические события следовали одно за другим на протяжении двадцати лет...

Однако не будем забегать вперед, вернемся в 1899 год, знаменательный для истории армянской литературы. В этот год в доме Ованеса Туманяна организовалась литературная группа «Вернатун» («Мансарда»). Организовалась как бы в опровержение написанного в том же году письма Исаакяна о том, что на Кавказе «нет никакой жизни, никаких духовных интересов», в опровержение сего Ованеса Туманяна на тоскливость и скуку жизни. «Вернатун» свидетельствовал о наличии интенсивной духовной и интеллектуальной жизни в среде современных армянских писателей. За неполный десяток лет своего существования группа сыграла важную роль в творчестве не только постоянных ее членов, но и других писателей.

Встречи «Вернатуна», обосновавшегося в гостеприимном доме О. Туманяна на Бебутовской улице № 44, были светлой, радостной порой в тяжелой жизни армянских писателей.

Ованес — гостеприимный, приветливый — был притягательным центром. Он любил беседы и отдавался им всей душой. Когда ни придешь к нему, оставит работу и с улыбкой на лице вступит в разговор.

Г. Агаян, Д. Демирчян, я и наши другие товарищи регулярно раз-два в неделю собирались у него свидеться, поговорить. Таким образом, его дом стал местом наших встреч... Зимой, усевшись вокруг пылающего камня, вели бесконечные разговоры, шутили, спорили.

Читали свои только что написанные произведения, обменивались мнениями, критиковали, говорили о новостях армянской, русской и других литератур, делились впечатлениями.

Читали классиков — западных и восточных, а также произведения новейшей литературы. Невыразимо прекрасные часы проводили мы в «Вернатуне», осмысленные, содержательные, вдохновенные.

Дереник Демирчян, самый молодой из участников «Вернатуна», писал позднее, что создание этой литературной группы не было «причудой или случайностью». Это было объединение писателей одного литературного направления, противостоящего литературе националистических устремлений и тенденций, объединение писателей, которые различали «национальную и националистическую культуры». Так что беседы их, сколь ни были увлекательны, не теряли основного курса, не плыли «без руля и без ветрил». «Добросовестно, буквально по-семинарски» изучали она классиков — от древнегреческих трагиков до Шекспира и Гёте, Байрона и Пушкина; обсуждали проблемы армянской истории и литературы. «Встречи проходили сердечно, живо, весело. Сколько раз завтрак переходил в обед, затем в вечерний чай и, наконец, далеко за полночь — ужин до рассвета».

Первые два года нового века были относительно мирными в жизни армянского народа и его писателей. Во всяком случае, в жизни Туманяна и Исаакяна. В 1901 году они много ездили по Кавказу, а Исаакян побывал и за границей. Весной 1901 года он встречался в Венеции с кумиром своей юности Гевондом Алишаном<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Алишан Гевонд (1820—1901) — выдающийся поэт, филолог, историк. Поэзия Алишана проникнута идеей освобождения Армении. Оставил много томные труды по истории, археологии, географии и этнографии Армении, переведенные на многие иностранные языки. Член конгрегации мхитаристов.

В 1817 году на расположенный на юге Венеции остров Святого Лазаря переселилась из Константинополя конгрегация, созданная в 1801 году монахом, ученым-лингвистом Мхитаром Себасти. Мхита-

...В своих книгах и наших душах он воссоздал мир Армении и погрузил нас в эпическую и поэтическую атмосферу ее истории — прекрасную, увлекательную, легендарную и вместе реальную.

Поэт знакомится с учеными мхитаристами и сокровищами монастыря св. Лазаря.

Летом 1901 года Исаакян уже на родине, дома. В это время его навещает Ованес Туманян. Вместе они посещают Ани, расположенный в двадцати пяти километрах от Казарапата.

Ани занимал огромное место в духовном мире молодого Исаакяна. Он не раз посещал его и один, и в сопровождении ученого Николая Марра, архитектора Тороса Тораманяна, талантливого актера, влюбленного в Ани, Арама Вруйра, который известен своими фотографиями развалин Ани. Исаакян сопровождал их не как любопытствующий турист, а как сотрудник экспедиции.

Когда я бывал с ними в Ани, я с самого раннего утра и до полудня под жарким солнцем помогал им носить и устанавливать инструменты, помогал и в других делах.

В полдень они обедали и после короткого отдыха снова принимались за работу.

---

ристы много сделали для развития армяноведения и армянской художественной литературы. Они собрали и издали многочисленные памятники древнеармянской историографии, поэзии и философской мысли, труды греческих и римских мыслителей, часть которых ныне известна мировой науке только в армянских переводах. Здесь с 1843 года издается ежемесячник «Базмавеп», который выходит и поныне. В монастыре св. Лазаря находится богатейшая зарубежная коллекция древнеармянских манускриптов (самая богатая в мире находится в Ереване в Матенадаране — хранилище древних рукописей). Наполеон, захватив Италию, приказал сохранить монастырь св. Лазаря как уникальный научный центр. Байрон здесь, с помощью членов братии мхитаристов, изучал грабар (древнеармянский язык) и оставил записи об армянской культуре и истории.

Читали классиков — западных и восточных, а также произведения новейшей литературы. Невыразимо прекрасные часы проводили мы в «Вернатуне», осмысленные, содержательные, вдохновенные.

Дереник Демирчян, самый молодой из участников «Вернатуна», писал позднее, что создание этой литературной группы не было «причудой или случайностью». Это было объединение писателей одного литературного направления, противостоящего литературе националистических устремлений и тенденций, объединение писателей, которые различали «национальную и националистическую культуру». Так что беседы их, сколь ни были увлекательны, не теряли основного курса, не плыли «без руля и без ветрил». «Добросовестно, буквально по-семинарски» изучали она классиков — от древнегреческих трагиков до Шекспира и Гёте, Байрона и Пушкина; обсуждали проблемы армянской истории и литературы. «Встречи проходили сердечно, живо, весело. Сколько раз завтрак переходил в обед, затем в вечерний чай и, наконец, далеко за полночь — ужин до рассвета».

Первые два года нового века были относительно мирными в жизни армянского народа и его писателей. Во всяком случае, в жизни Туманяна и Исаакяна. В 1901 году они много ездили по Кавказу, а Исаакян побывал и за границей. Весной 1901 года он встречался в Венеции с кумиром своей юности Гевондом Алишаном<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Алишан Гевонд (1820—1901) — выдающийся поэт, филолог, историк. Поэзия Алишана проникнута идеей освобождения Армении. Оставил многотомные труды по истории, археологии, географии и этнографии Армении, переведенные на многие иностранные языки. Член конгрегации мхитаристов.

В 1817 году на расположенный на юге Венеции остров Святого Лазаря переселилась из Константинополя конгрегация, созданная в 1801 году монахом, ученым-лингвистом Мхитаром Себасти. Мхита-

...В своих книгах и наших душах он воссоздал мир Армении и погрузил нас в эпическую и поэтическую атмосферу ее истории — прекрасную, увлекательную, легендарную и вместе реальную.

Поэт знакомится с учеными мхитаристами и сокровищами монастыря св. Лазаря.

Летом 1901 года Исаакян уже на родине, дома. В это время его навещает Ованес Туманян. Вместе они посещают Ани, расположенный в двадцати пяти километрах от Казарпата.

Ани занимал огромное место в духовном мире молодого Исаакяна. Он не раз посещал его и один, и в сопровождении ученого Николая Марра, архитектора Тороса Тораманяна, талантливого актера, влюбленного в Ани, Арама Вруйра, который известен своими фотографиями развалин Ани. Исаакян сопровождал их не как любопытствующий турист, а как сотрудник экспедиции.

Когда я бывал с ними в Ани, я с самого раннего утра и до полудня под жарким солнцем помогал им носить и устанавливать инструменты, помогал и в других делах.

В полдень они обедали и после короткого отдыха снова принимались за работу.

---

ристы много сделали для развития армяноведения и армянской художественной литературы. Они собрали и издали многочисленные памятники древнеармянской историографии, поэзии и философской мысли, труды греческих и римских мыслителей, часть которых ныне известна мировой науке только в армянских переводах. Здесь с 1843 года издается ежемесячник «Базмавеп», который выходит и поныне. В монастыре св. Лазаря находится богатейшая зарубежная коллекция древнеармянских манускриптов (самая богатая в мире находится в Ереване в Матенадаране — хранилище древних рукописей). Наполеон, захватив Италию, приказал сохранить монастырь св. Лазаря как уникальный научный центр. Байрон здесь, с помощью членов братии мхитаристов, изучал грабар (древнеармянский язык) и оставил записи об армянской культуре и истории.

А вечером сидели до поздней ночи, курили, пили кофе и вели нескончаемые беседы.

Встречи с Торосом Тораманяном оставили глубокий след в душе поэта. И Ани предстал бы глазам молодого Исаакяна совсем иначе без пояснений такого мастера и знатока архитектуры, каким был Тораманян. Позднее Исаакян воспроизвел высказанные им мысли:

— Ани — зеркало армянской культуры. Посмотри внимательно на Кафедральный собор, взглядишь — в нем воплощение нашего стиля. Он величествен, потому что форма его проста. Проста, потому что кристаллизовалась века. На пути развития вековой культуры форма сбросила с себя все лишнее, ненужное.

Когда я перевел восторженный взгляд на него, он стоял, молчаливый и сосредоточенный, обернув лицо к Собору, и мне показалось, что душа его в этот миг общалась с духом армянской архитектуры.

Я думал о том, как этот скромный, застенчивый Торос Тораманян благодаря своему подвижническому труду стал для армянского народа просто архитектором Торосом — великим и бессмертным.

Вот один из тех людей, которые оказали влияние на духовное формирование Исаакяна, та среда, которая обогащала его внутренний мир. Давно и верно сказано: нет абстрактного человека, человека вообще, есть человек — продукт определенной среды, условий природы, влияний. Природа, на лоне которой рос будущий поэт, среда, в которой формировался его характер, влияния, которые он испытал, должны были пробудить в нем глубокий патристический дух. Был и другой фактор: гонения, которым подвергался в начале века армянский народ, его язык, его культура. Но здесь вступал в силу непреложный закон: действие порождает противодействие, преследование —



Это уже не песня нежного сердца. Это открытый призыв к революции, к борьбе. В нем сливаются идеи национального освобождения и социально-освободительные, провозглашаются идеи братства народов.

Социальные притеснения, которым подвергались все народы царской России, пробуждали в их лучших сынах гнев и протест. Они поднимали народ на борьбу против угнетателей. Исаакян видел этих героев и восхищался ими. В 1906 году он написал рассказ «Шакро Валишвили».

Это рассказ о памятном 1905 годе, когда над всей необъятной Россией, из края в край развевалось знамя революции, собирая вокруг себя всех обездоленных, всех страждущих, всех свободолюбивых.

Революционер-пропагандист призывает к борьбе: «Мы требуем земли и воли. Наши земля и воля в руках помещиков и князей. Мы должны в борьбе отвоевать свои права — оружием и кровью». Кто поведет в бой повстанцев? Вперед выходит молодой человек, «вооруженный, грозный». Это Шакро Валишвили. И весь рассказ — гимн герою, отдавшему всего себя борьбе с угнетателями, сложившему голову за свободу народа.

По велению времени идеи революции проникают в творчество Исаакяна. Следя за развитием мировоззрения поэта, можно заметить, как мечта о национальном освобождении собственного народа приводит его к идее социального переустройства общества. Он связывает освобождение своего и других народов от социального гнета с уничтожением самодержавия:

Возмездия и ненависти яд  
В моей душе отравленной живет.  
О нет, не мир мой слова сулят,—  
Мой стих суровый к мщению зовет.  
Возмездия и ненависти яд  
Я вам в сердца вливаю без конца.  
Я говорю: ты, кто разут, раздг,

Ты, у кого угла и пищи нет,  
На ком оковы тяжкие звенят,  
Кто жаркий пот в чужую ниву льет,—  
Встань, встань! На гибель палачу  
Я для тебя оружие точу.

В твой ереникий сокрушительный кулак  
Я вкладываю грозной правды меч.  
Чтоб трепетал перед тобою враг,  
Чтоб мог ты притеснителей рассечь.  
Вдуваю пламя яростное в грудь,  
Чтобы к свободе отыскал ты путь,  
И руку поднимаю я твою,  
Как мстительную гибкую змею...

*(Перевод Н. Чуковского)*

В начале века расширяется сфера исканий Исаакяна. Новые места, новые люди, новые впечатления.

В 1904 году он впервые попадает в Москву, знакомится с древней русской столицей, ближе узнает культуру русского народа.

Здесь, в Лазаревском институте, он впервые встречается со студентом Вааном Теряном, который поражает его своей скромностью и робостью. Терян был младше Исаакяна на 10 лет, но на 37 лет раньше его ушел из жизни. Это смещает наши представления настолько, что нам трудно вообразить Теряна младшим, робеющим перед автором «Песен и ран».

Терян открылся Исаакяну в следующую их встречу, когда летом 1905 года Исаакяна навестил его в родной деревне Гандза. Здесь, наблюдая вместе с Исаакяном обрядовые пляски девушек, Терян сказал: «Народ этот не может понять даже собственная интеллигенция, где уж чужим. Из наших новых писателей только вы двое — Туманян и ты — чувствуете народ. После вас нужно либо сказать совершенно новое слово, либо молчать». (Новое слово не заставило себя ждать — спустя три года вышел в свет сборник стихов Теряна «Грезы сумерек».)

Один из беспокойных дней того же 1905 года надолго сохранился в памяти Исаакяна. Однажды вечером поздней осенью он блуждал по улицам Тифлиса в поисках ночлега.

У меня были родственники в левобережной части города, но идти туда не хотелось, так как на мосту вооруженные постовые обыскивали прохожих. Озадаченный бродил я по городу и думал, у кого бы переночевать.

Неожиданно я лицом к лицу столкнулся с Акопяном. Он направлялся домой в район Со-лолаки.

Акоп Акопян устроил Исаакяна в доме своего родственника — собственный его дом был полон земляками-беженцами. Основоположник армянской пролетарской литературы успокоил и подбодрил павшего духом старшего друга.

Было поздно, когда мы расстались. Я остался один, но утешен... Я был восхищен его цельностью, твердостью, непоколебимостью.

Прослеживая путь, пройденный Исаакяном, можно довольно точно определить подъемы и спады его общественных настроений, все их колебания. Когда, после поражения русской революции 1905 года, в России восторжествовала реакция, лира Исаакяна начинает издавать мрачные, печальные мелодии.

Вместе с тем в 1905 — 1908 годах жизнь поэта наполнена странствиями и бурной деятельностью. Он как будто предчувствовал, что ему предстоит расстаться с родным Кавказом и надолго стать изгнанником. Где только не побывал в эти годы Исаакян. Жил в Тифлисе, Баку, Александрополе, Казарапате. Вместе с Туманяном был в Лори, в его родном селе Дсехе, был в Эчмиадзине.

Лучше всего поэту работалось и писалось в родной деревне, в своей рабочей комнате в доме возле ледовской

мельницы. Многие из стихотворений созданы здесь. Здесь же написана и поэма «Абул Ала Маарн».

В доме, где жил Исаакян, не было ни роскоши, ни особых удобств, но и такое скромное жилище было несбыточной мечтой для многих армянских писателей. «Твое счастье, что у тебя есть угол и ты можешь, свободный от забот, спокойно трудиться в тишине — для меня и это недоступно», — писал Туманян другу в 1908 году.

Мы располагаем точным описанием этого дома, сделанным рукою историка и критика Лео по свежим впечатлениям. Оно помещено в цикле его очерков, которые были опубликованы тогда же в газете под названием «Из моих летних странствий».

На безлесной равнине выделяется роща, расположившаяся вокруг мельницы. Мельница принадлежит «братьям Исаакянам, один из которых — Аветик — наш прославленный поэт, — писал Лео. — ...Мы в комнате поэта. Вам, может быть, представляется вилла на берегу реки, роскошь, комфорт и проч.? Более чем скромная комната, чуть лучше обычной деревенской, с простой мебелью и утварью... Дом полон обитателей, даже передняя служит спальней. Комнату украшают лишь полные книг шкафы — целая библиотека, достаточно богатая для деревни. Зимой, когда Ширак тонет в снегу и над ним владевает один только дым, когда замерзает Арпачай и умолкает мельница, дом Исаакяна пустеет. Аветик — один, наедине с любимыми книгами; в тишине и одиночестве он обновляет в воображении собственные впечатления и переживания. Большая часть его стихотворений создана здесь...

...Здесь, в недрах народной жизни, он с ног до головы свой, местный, он неотделим от этого края, он истинно самобытен и непереволим. Все это можно ощутить, осознать, осязать только здесь, на месте — на той земле, где грозная поступь веков сформировала жизнь народа».

Очерк отразил впечатления 1908 года. Год этот был

очень значительным в жизни Исаакяна — насыщенной деятельностью, разнообразными впечатлениями, творчеством.

\* \* \*

В том же 1908 году написаны первые восточные сказания поэта, встреченные критикой с иронией. «Исаакян, кажется, не нашел ничего лучшего, как рыться в китайских архивах в поисках истины». Современная критика не поняла, что Исаакян закладывал первые камни в фундаменте того поэтического мира, который по праву нужно назвать «Исаакяновский Восток».

Это исторический Восток в широком охвате — Персия, Аравия, Китай, Иудея, Индия, со своими великими мыслителями, своим специфическим мирозерцанием, богатейшим жизненным опытом, пышными красками, а также жестокими противоречиями. Но это и армянский Восток, Восток — в армянском осмыслении, как Испания Пушкина — это русская Испания, Испания в изображении русского поэта.

С удивительным мастерством Исаакян воссоздает Восток со всеми его волшебными красками, всегда, однако, оставаясь самим собой. В изображении Востока Исаакян разрабатывает своеобразный стиль, специфический язык, ритм.

Вот рассказ «Богдыхан Ши Хоунг-ти», тема которого взята из эпохи «за 200 лет до рождения Христова». Китайский владыка, «надменный, недоступный как небо», сидел на троне, «мрачный и свирепый». Его мучает мысль о тайне бытия, он вопрошает лучших ученых своей страны: для чего живет человек? что такое материя? что такое вселенная? где ее начало и конец? что такое время и пространство? для чего существуют эти понятия?..

Но ученые, которые многое могут объяснить, бессильны ответить на эти вопросы. Они могут разъяснить

только причину своего бессилия. «Каждый предмет, каждое явление имеют свою причину и следствие. Мы стоим на некой неизвестной ступени лестницы причин, и когда, нисследуя их, опускаемся постепенно, ступень за ступенью, в глубины вселенной, наша мысль растворяется, улетучивается, точно капля воды под палящим солнцем. Никто не может дойти до начальной ступени, потому что ее нет. В наших руках только одно звено цепи причинности, а все остальные бесчисленные звенья сокрыты в бесконечности...»

Разумеется, восточный владыка обезглавил всех ученых — на то он и восточный владыка. Затем он издал строжайший указ о том, что отныне в Поднебесном государстве не должно быть написано ни одной книги о смысле сущего, о первопричине причин и «особенно о загадке времени и пространства...». И кажется владыке, что он умертвил Дух и Мысль, «потому что Дух ведет к отчаянию, Мысль — к смерти». Так думает владыка. Но завершается рассказ тем, что владыка сам убивает себя.

Неистребимы Мысль и Дух, говорит Исаакян своим рассказом, смертно то, что поднимает меч против Мысли и Духа.

Восточные мотивы привлекают армянского поэта как возможность запечатлеть в выразительной художественной форме собственные философские раздумья. Примеров тому много.

Вот «Последняя весна Саади». Знаменитый персидский поэт, один из выдающихся восточных мыслителей, смотрит на волшебный мир с тем же удивлением, что и армянский поэт.

— Жизнь идет вверх тормашками, рушится, разваливается, но и сама восстанавливается. Что же вновь и вновь воссоздает этот грандиозный мир, сеет вокруг это чудо и создает сказочное волшебство?

...Кто, неведомый, дал человеку форму

и душу, чтобы он мыслил и страдал, чтобы он чувствовал всегда огонь желаний и никогда не хотел умереть?

О любви! Ты — непобедимый порыв, ты — сладкий плен, я давно с тобою знаком. Однако я не постиг всей глубины твоей, не раскрыл твоей тайны...

Так думает в свою последнюю весну достигший глубокой старости Саади и завещает написать на последней странице его бессмертной книги «Гюлистан»: «Рождаемся невольны, живем удивляясь, умираем тоскуя». Это вывод из опыта всей его долгой жизни.

Жажда высказать вечные истины, великие неумирающие истины толкает Исаакяна к историческим восточным сказаниям. Безошибочный вкус подсказывает Исаакяну — чтобы заставить их зазвучать, нужна историческая атмосфера и атмосфера мифа.

Ушинара — индийский мудрец и справедливый судья. Однажды Ушинара сидел спокойно у себя в зале и читал Веды. Неожиданно влетает к нему охваченная ужасом голубка и просит защиты. Ушинара обещает защитить ее. Однако гриф, преследующий голубку, требует свою добычу, иначе он и его птенцы погибнут от голода. Ушинара отказывает и предлагает грифу взамен все, что тот пожелает. Но гриф питается только свежим мясом, такого его природа. И гриф требует кусок тела Ушинары — столько, сколько весит голубка. Ушинара соглашается. Он отрезает кусок своего тела и кладет на весы, но голубка весит больше. Он снова отрезает от себя кусок мяса, и снова голубка перевешивает. И так несколько раз.

Тогда весь искромсанный Ушинара сам стал на чашу весов...

— Я Индра! — воскликнул гриф. — Властитель вселенной, а голубка — дух огненного Агни. Мы явились испытать твою добродетель.

Да славится имя твое в веках, Ушнпара, ибо ты не пожалел собственной жизни для спасения маленькой голубки.

Ты будешь жить вечно. Народы не должны забывать твое покрытое бессмертной славой имя, потому что ты остался верен священному долгу.

Вот идеал справедливости, утверждает Исаакян со всей страстью жаждущей справедливости души. Человек утверждает свою верность правде, добру не словом — поэт видел в своей жизни немало таких людей, — а собственным поведением, собственной жизнью и кровью.

В восточных сказаниях Исаакяна виден человек той же жизненной философии, что и во всем его творчестве, — гуманист, воспевающий любовь и самопожертвование, заклятый враг насилия. Вспомним:

С дальних морей, из пустынь без границ,  
Из светлых дворцов, из глухих темниц  
Бесконечные стоны и ночью, и днем  
Отдаются эхом в сердце моем.  
И солонь слезы, и горек смех,  
И хлеб окровавлен, и горе у всех...  
Иссякнет ли море слез наконец?  
Я слышу, как слезы из всех сердец  
Капля за каплей горе свое  
Изливают в скорбное сердце мое!

*(Перевод М. Зенкевича)*

## Для Исаакяна

На свете выше счастья не сыскать,  
Чем счастье служения другим.

*(Перевод В. Звягинцевой)*

Был ли на свете властитель более жестокий и кровожадный, чем Чингисхан? В рассказе Исаакяна он уже

стар и дряхл и кровь стынет в его жилах. «Самый могучий человек великий могол, полмира принадлежит ему, и достаточно его приказа, чтобы и вторая половина стала подвластной его скипетру... Но не в силах он даже поцеловать прекрасную девушку...» И понял обессилевший властелин, что «целое царство его не стоит горячего поцелуя юноши-пастуха». Понял и еще более ожесточился против всего мира. Чингисхан, чувствуя приближение конца, приказывает своим войскам охранять его от смерти. Но является смерть и говорит, что пришла она не издалека — «я всегда была в тебе самом, неотделима от тебя, — когда ты был молод и бодр, ты побеждал меня, но этой борьбой я истощила твои силы, теперь побежден ты, скажи свое последнее слово и пойдем со мной...»

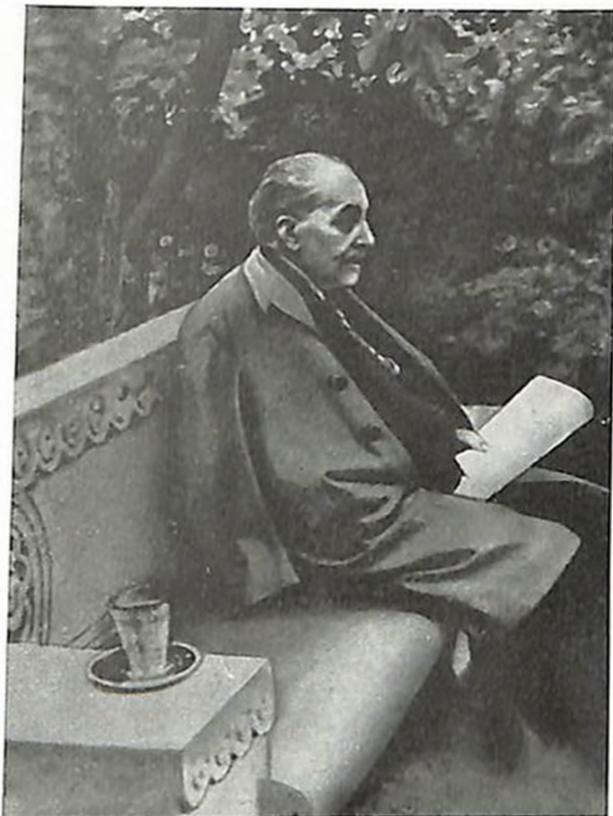
Каково же последнее слово умирающего владыки? «...Приказываю отравить все реки и родники, все моря и океаны моей империи, чтобы все умерли вместе со мной...» Даже умирая, тиран сеет зло.

Вот другой император («Сказание о Великой китайской стене»), который претендует на то, чтобы править не только людьми, но и стихиями природы. Однажды он наказал гору, «осмелившуюся низвергнуть бурю на сына неба». Многие тысячи людей нашли смерть на строительстве Великой китайской стены, воздвигаемой по его приказу и получившей название самого большого кладбища мира.

Насилие — самое великое зло, а когда насилию подвергается весь народ — это величайшая трагедия, творец которой тиран. И горькая ирония истории в том, что автором трагедии порой становится комическая фигура.

Император («Древняя китайская легенда»), наслаждаясь прохладой на балконе своего пышного дворца, заметил, что подданные его, несмотря на палящее солнце, ходят в тяжелых черных шапках.

Надо облегчить их участь, решил император и призвал старшего советника.



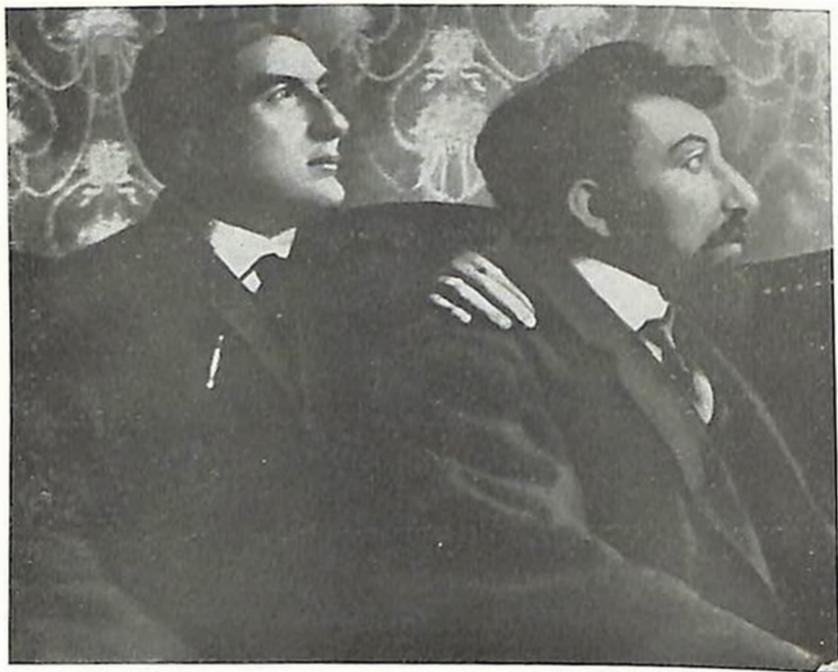
*Аветик Исаакян в своем саду, на скамейке из туфа, подаренной ему архитекторами к его 80-летию. 1957.*



*Аветик Исаакян со своим дедом. Александрополь, 1882.*



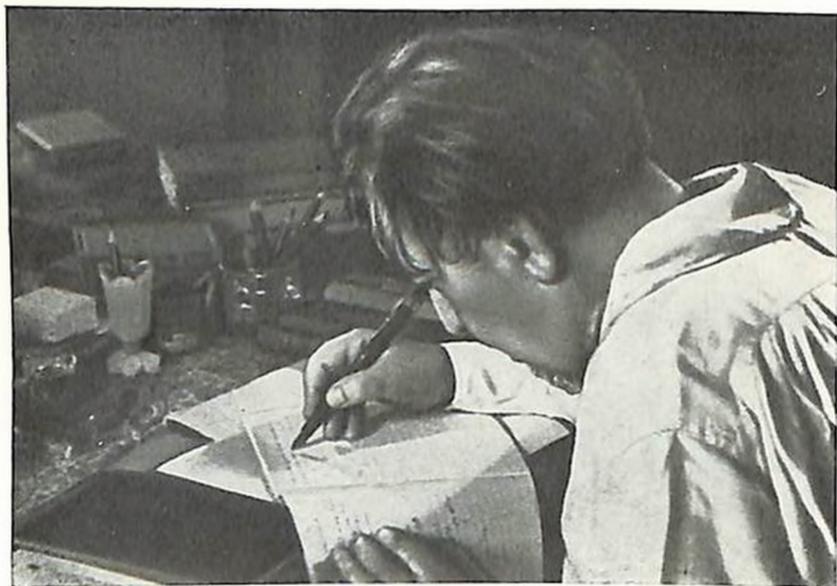
*Аветик Исаакян. Тифлис, 1910.*



*Аветик Исаакян и Сиаманто. Константинополь, 1914.*



*На юбилейном заседании, посвященном 65-летию со дня рождения Ав. Исаакяна. Москва, 1941.*



*Левтик Исаакян в своем кабинете. 1945.*



*Левик Исаакян и Тихон Хренников на конгрессе сторонников мира. 1949.*



*Встреча Исаакяна на Курском вокзале. На переднем плане Н. Тихонов и Ав. Исаакян. 1949.*



*Левик Исаакян и Георгий Леонидзе.*



*Самед Вургун и Лветик Исаакян. Кисловодск, 1952.*



*Левтик Исаакян, адмирал И. Исаков и Мартирос Сарьян  
в Матенадаране. 1953.*



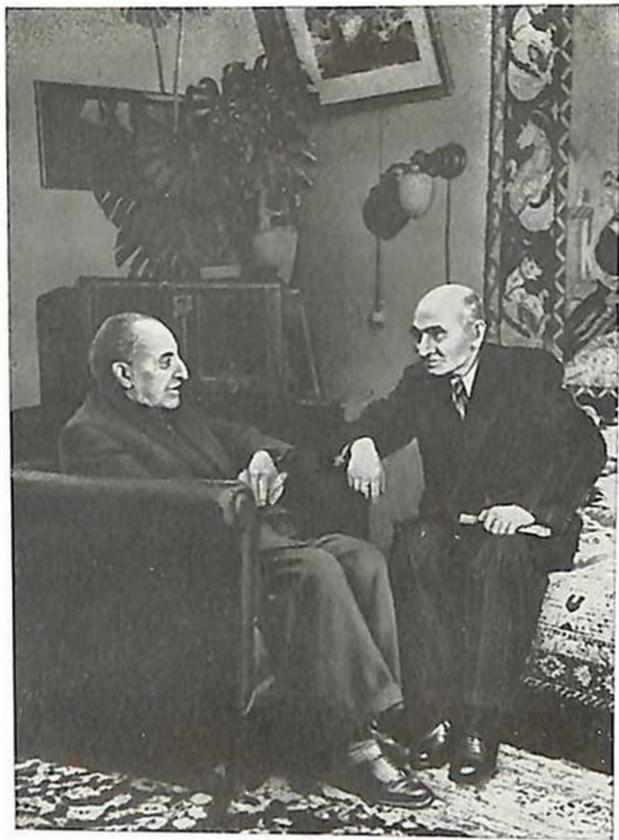
*Литовские писатели В. Реймарис и А. Венцлова у Исаакяна. 1955.*



*Агостис Исаакян и Кришан Чандр. Ереван, 1955.*



*К. Симонов и Ав. Исаакян. Ереван, 1955.*



*Аветик Исаакян и Дереник Демирчян. Ереван, 1955.*



*Пабло Неруда в гостях у Аветика Исаакяна. 1957.*

« — Разве ты не замечаешь, какое горячее солнце, буквально жаром пышет?

— Да, Господин мой, пышет жаром.

— Разве ты не видишь, что народ мой мучается в этих тяжелых старинных шапках?

— Твоя правда, Сын неба.

— Я желаю, чтобы с завтрашнего дня каждый китаец в моей империи, где бы он ни был, сменил тяжелую черную шапку на легкую белую.

— Твое желание, Небесная доброта, закон. Завтра же будет исполнена твоя божественная воля».

Император возвращается в хоромы, довольный и счастливый, что совершил доброе и полезное для своего народа дело.

Таковы мудрые заботы императора в отношении своих страждущих подданных.

Каково же было их следствие? Весь государственный аппарат снизу доверху поставлен на ноги для осуществления этого великолепнейшего приказа. Всех, кто носит старые головные уборы, штрафуют, избивают, сажают в тюрьмы, заковывают в кандалы, а в отдаленных районах обезглавливают и головы надевают на колья — для устрашения. Вести об этом достигают властителя.

Император, рассвиреневав, призывает к себе старшего советника.

— Верны ли эти зловещие вести?

— Да, Небесная справедливость, верны.

— Но ведь мы приняли человеколюбивый закон: сменить шапки, а не снимать головы.

— Однако таков порядок, так осуществляется закон, и перед его естественным ходом бессильны и мы, и даже твое, о сын Небесной мудрости, императорское могущество.

Император, опустив голову, уединился в своих покоях. И, чтобы рассеять мрачное настроение, в тот же вечер с

еще большей страстью отдался привычному дворцовому разгулу».

Это — тиран, показанный в самом добром, благом его проявлении, с его абсурдной программой облегчения участи подданных, не понимающий народ и его нужды.

Чтобы понять народ, есть только один путь — разделить его судьбу. Об этом говорится в рассказе «Великая правда».

Один богач трудом сотен рабочих воздвигает большое здание. Ему кажется, что строительство продвигается слишком медленно, рабочие плохо трудятся. Дни кажутся ему слишком короткими — «...только рассвело, уже полдень... и солнце спешит закатиться...».

Но случилось так, что город захватил и разграбил неприятель, бывший богач разорен и спасается бегством в чужую страну, где вынужден трудиться на большой стройке простым рабочим. Со сменой социального положения меняется и его психология. Теперь он ропщет: «Как долог день!.. Время окаменело и совсем не движется... но солнце, неподкупное, справедливое солнце, почему и оно, точно черепаха, еле движется? Когда же наконец оно пройдет свой нескончаемый путь — от рассвета до заката?»

Только испытав жестокость и несправедливость хозяйина, «постиг он, почувствовал каждой своей кровинкой ту великую правду жизни, которую никогда не понять богачам».

В бесконечных поисках законов человеческой справедливости Аветик Исаакян обращается к жизни Иудеи за 50 лет до Христа («Рабби Хиллель»). Однажды один чужак приходит к противнику Хиллеля — Шаммае и говорит: я готов принять твою веру, если ты сумеешь обучить меня всей премудрости Торы за время, которое я выдержу, стоя на ногах. Шаммае, рассердившись, выгнал нечестивого. С тем же предложением тот пришел к рабби Хиллелю и услышал такой ответ: «Не делай ближнему

того, что ты не хотел бы, чтобы совершили по отношению к тебе. В этом вся суть Торы, остальное — комментарий».

Нам кажутся наивными эти уроки истины, которые извлекает поэт из столь отдаленных эпох человеческой истории. Но стоит поразмыслить о том, что совсем не лишнее иногда повторять уроки седой старины. Тем более когда они так же неопровержимы, как, скажем, неопровержимы представляющиеся столь наивными в эпоху научно-технической революции законы Архимеда.

Исаакяновский Восток — это не сказочно-орнаментальный Восток, в волшебных красках которого размываются все социальные противоречия. Исаакяновский Восток, напротив, представляет собой мир без всяких романтических прикрас, мир противоречий, резкой социальной поляризации — владык и рабов, роскоши и нищеты. Это Восток автора поэмы «Абул Ала Маари».

Свидетель великих социальных потрясений, Исаакян с позиций своего времени вдумывается в выцветшие страницы истории древнего Востока, чтобы выразить собственные мучительные размышления.

\* \* \*

Но это только одно направление поисков писателя. В этот период творчество его чрезвычайно разнообразно. За годы 1907—1910, до эмиграции за границу, Исаакян создает множество стихотворений, делает переводы, публикует годовые обзоры армянской и русской литературы, статьи о западноармянских, русских и европейских писателях, театральные рецензии...

Мы мало знаем об Исаакяне-журналисте, поэтому будет полезно познакомиться с этой частью его наследия, в основной своей массе не опубликованной даже на родном языке, тем более что она дает четкое представление о его литературно-художественных интересах и склонностях.

В статьях и рецензиях Исаакяна виден человек высокообразованный, с большим кругом интересов, с широкими познаниями и тонким вкусом.

Интересна, например, статья, посвященная романам Кнута Гамсуна «Пан» и «Виктория», пронизанная тем же культом природы, который свойствен творчеству норвежского писателя.

Читая произведения Гамсуна, вы любите природу во всех ее проявлениях и благословляете и бури ее, и грозные стихии; вы чувствуете себя братьями птиц и зверей и видите, что только среди природы человек мудр, чист, естествен, благороден; вы переполняетесь ненавистью к шуму и грязи городов... Вдали от людских глаз слагаешь гимны природе, благословляешь ее камни и бурьян, букашек и листья и все, все, и чувствуешь себя довольным и счастливым, благодарным за то, что дана тебе жизнь, что живешь в таком великолепном, чудеснейшем храме, как природа.

Эти вдохновенные строки, не очень подходящие для журнальной статьи, — исповедь поэта, признающего в своей безмерной любви к природе, славящего все живое в мире и с этой позиции выступающего в роли ценителя творчества другого писателя.

Автор статьи пишет о том, что маленькая Норвегия дала миру писателей, таких, как Ибсен, Гамсун и другие, которые «принадлежат к великим творцам духа», и задумывается: почему армянская литература не породила такие имена? В другой статье того же периода он пытается дать ответ на этот вопрос, делая горькое признание:

Мы совершаем самоубийство и своим равнодушным хороним неопределимый клад — наш язык, который народ с невыразимыми муками и лишениями сохранил и донес до наших дней...

Исаакян объясняет это следующим образом:

Политическая судьба армянского народа, заставляющая его жить врозь, вразброд, в высшей степени отрицательно сказывается на нашей литературе. Мы не представляем собой некоего единства, поэтому не чувствуем и не мыслим обобщенно, не можем создать высокое синтезирующее прекрасное.

Если поэт и не объяснил явление в целом, то какую-то его сторону угадал.

Сколь требовательным был Исаакян-критик, мерявший искусство самой высокой мерой, видно из его театральных рецензий.

В статье по поводу постановки пьесы Пшебышевского «Во имя счастья» Исаакян обнаруживает превосходное знание новейших явлений европейской литературы и выявляет связи автора пьесы с философией Ницше.

Анализируя пьесу Леонида Андреева «Царь-голод», Исаакян, невзирая на славу писателя, подвергает ее резкой критике:

...Это нехудожественная, безвкусная вещь, форма ее вроде ультрасовременная, но очень примитивная, словно топором вырубленная, нет ни типов, ни трагической ситуации, ни жизненной правды.

Как ни категоричен поэт, его критика справедлива. Об этом свидетельствует и оценка, которую дал пьесе несколько лет спустя такой тонкий критик, как К. И. Чуковский. Он назвал пьесу «безвкусным созданием», где есть «сверхъестественные богачи и сверхъестественные бедняки», где «люди превратились в части машин», и, поскольку действующие лица лишены психологии, мы «совершенно равнодушны» к голодным, представленным в пьесе.

1908 год вообще был очень плодотворным для Исаакяна. Он опубликовал много стихотворений, ряд прозаических вещей, статей. В этом же году в Баку вышло новое, значительно дополненное издание его стихотворений

«Песни и раны», по поводу которого в печати было сказано:

«Исаакян — мастер, который освятил, если не сказать утвердил, народную форму стиха. Когда поэт достигает такого уровня, его недостатки превращаются в достоинства, он делается любимым поэтом».

Исаакян уже признанный поэт, он достиг счастья, которого удастанваются немногие, — он завоевал сердце своего народа, его стихи стали народными песнями. Во время своих бесконечных разъездов и в отдаленных армянских селах, и в Тифлисе, и в Баку он не раз слышал свои стихи, переложённые на музыку безвестными талантливыми сочинителями. И если бы поэт спросил у певцов, кто написал слова и мелодию песни, он, по всей вероятности, не услышал бы в ответ ни своего имени, ни имени композитора. Немногие знали, что слова широко бытовали в народе песен: «Ты черной тучей скрыл чело...», «Охотник-брат в горах один...», «Полюбил — отняли яр...», «Караван мой бренчит и плетется...», «Ах, сбился я с моей дороги...», «Плачьте со мной, гнацинты гор...» и многие другие принадлежат Исаакяну. В представлении тех, кто пел их, это были истинно народные произведения, не имеющие автора.

Стихотворения из первой же книги Исаакяна, увидевшей свет, когда автору было только двадцать три года, народ сразу принял как свои собственные и на протяжении десятков лет не расставался с ними и в радостях и в печалях! На армянском Парнасе нет другого поэта, который мог бы в этом сравниться с Исаакяном.

И в последующие годы все новые и новые стихотворения Исаакяна перелажались на музыку композиторами-профессионалами и, чаще, народными певцами. На стихи Исаакяна писали музыку и русские композиторы — С. Рахманинов, Ц. Кюи, Г. Свиридов.

Кажется, будто песни рождались сами собой, произвольно, вместе с музыкой. Это относится одинаково к

стихам, написанным и в юности, например «Пахарь, распряги волов...» (1893), и на склоне жизни — «Бингёл» (1941) и др.

Богатейшая музыкальная библиотека Исаакяна продолжала создаваться на протяжении многих лет, но уже в эти годы он приобрел широкую популярность. Однако, несмотря на свою известность, поэт не был обеспечен литературным заработком. Современная пресса не скрывала своего недоумения: «Песни Аветика Исаакяна поет весь армянский народ. Но какое число сборников этих песен продается? Можно было предположить, что произведения народного поэта удостоятся нескольких изданий и сразу обеспечат автора. Между тем дело обстояло совсем иначе — книги оставались нераспроданными в магазинах, а автор вел необеспеченное существование, уповая на скромные доходы от дедовской мельницы».

Такова была участь поэта малочисленного народа, в большей своей части неграмотного. За исключением, быть может, одного Габриэла Сундукяна, армянские писатели всегда жили в нужде. К этому добавились политические преследования. В конце года Исаакян снова оказался в тюрьме.

В декабре 1908 года царская жандармерия арестовала меня и Ованеса [Туманяна] по обвинению в противоправительственных действиях и продержала шесть месяцев в тифлисской Метехской тюрьме. Камеры наши оказались по соседству.

В марте 1909 года скончался очень популярный в народе армянский ашуг Ашот Дживани. Сын ашуга Гарегин Левонян вспоминает, что, когда похоронная процессия проходила мимо Метехской тюрьмы, взоры всех обратились в ее сторону.

«— Смотрите, смотрите, кто это машет платками? — Поднимаю голову и вижу: О. Туманян и А. Исаакян, просунув руки сквозь решетки тюремных окон, машут

платками — словно вместе с нами участвуют в траурной процессии».

После шести месяцев тюрьмы Исаакяна, как и Туманяна, временно, под денежный залог, выпустили на свободу, с тем, однако, условием, чтобы они не выезжали за пределы Кавказа до суда, который должен был состояться в Петербурге.

Проходит более двух лет, пока тяжелая царская бюрократическая машина приходит в действие и рассматривает дело, по которому привлекается множество обвиняемых. За это время происходят знаменательные события в творчестве и в личной жизни Исаакяна — создание поэмы «Абул Ала Маари» (1909) и женитьба (1910).

«Абул Ала Маари» — высочайший взлет таланта Исаакяна, одна из вершин его творчества, в которой сконцентрированы и с необычайной художественной силой выражены раздумья поэта о жизни. Мрачные, горькие раздумья. Это был ропот поэта, который, как мы видели, неоднократно подвергался преследованиям, арестам, ссылке и в тот момент, когда писалась поэма, находился под судом. Кроме того, он был сыном народа, постоянно гонимого, подвергавшегося порой физическому уничтожению — в год, когда писалась поэма, в султанской Турции в Адане от резни погибло тридцать тысяч армян. Какие думы могли владеть поэтом при таких обстоятельствах?

«Абул Ала Маари» — отражение жизненного опыта Исаакяна. Но в поэме сказано не только лично пережитое поэтом, но и испытанные литературные влияния. Каждый поэт, каждый писатель подвержен воздействиям тех или иных воззрений и литературных течений. Признаком таланта является не отсутствие влияний, что, по существу, вряд ли возможно, а умение при этом сохранить собственное лицо, собственную индивидуальность. И величие Исаакяна в том, что он, будучи среди армянских писателей своего времени наиболее образованным и более

других испытавшим давление чужестранных художественных идей и систем, сохранил, благодаря свойствам природного дарования, свою самобытность. Активная, всегда бодрствующая мысль поэта проникла в самые разнообразные сферы знания. С молодых лет под их влиянием формировалось его мировоззрение, его общественные и нравственные убеждения, его поэтическое мышление.

Об этом хорошо сказала Мариэтта Шагинян: «...читатель ошибется, если подумает, что доступность поэзии Аветика Исаакяна связана с безыскусностью и первичной простотой. Большое и утонченное искусство лежит в основе простоты Исаакяна. Поэт прошел трудную школу. Он много и тщательно учился, был слушателем Эчмиадзинской семинарии, Лейпцигского университета, читал Петрарку по-итальянски, Верлена по-французски, Меландра по-гречески, Новалиса по-немецки.

Скитаясь по Ближнему Востоку, по Европе, восходя на Афинский Акрополь, Исаакян продолжает учиться и гранить свое мастерство».

Вернемся к «Абул Ала Маари». Вопрос не в том, чтобы отрицать влияния, сказавшиеся на этой поэме, как это делают некоторые критики, полагая, что оказывают услугу поэту, а в том, чтобы объяснить это сложное и противоречивое литературное явление.

Нельзя не заметить пессимистические мотивы в «Абул Ала Маари», отрицание нравственных основ существующего мира, обжигающую ненависть ко всем его устоям, как нельзя не отметить и явственное влияние восточной поэтической культуры и западной поэзии на поэму.

Корень пессимистических настроений, сказавшихся в поэме «Абул Ала Маари» независимо от каких бы то ни было литературных влияний, — в трагической судьбе поэта и его народа. Было бы странным ждать от поэта, преследуемого законом, видящего страдания своего народа,

оптимистические поэтические рулады. Поэт, к несчастью, имел все основания сказать о себе:

Что мне весна и звонкий бег ключа?  
Померк от горя блеск моих очей.  
Бреду один, всю скорбь земли влача.  
Не спрашивай о горести моей.  
Я угнетенного народа сын!  
Идет путем кровавым мой народ,  
И век за веком, в тьме глухих годни,  
Насилья цепи ржавые грызет.

*(Перевод В. Звягинцевой)*

Вместе с тем в поэме очевидны и литературные влияния. В ее форме сказалось влияние Востока, но оно было освоено собственным поэтическим осмыслением, собственным духовным миром.

Издавна знакомый восточной поэзии образ каравана был излюбленным в поэзии Исаакяна, который сам, подобно каравану, странствовал по миру. Этому образу подчинен весь ритм поэмы, как вся ткань ее — колориту Востока, она расцвечена восточными красками. Как писал С. Шервинский: «Исаакян показал, что мог бы рассыпать щедрыми пригоршнями слов и образов на восточный лад».

Поэма, в которой 383 строки, разделена на семь сур. Сура — арабское слово, обозначающее части священной для мусульман книги догм — Корана.

Вся поэма, ее образная, речевая фактура пронизаны восточным колоритом: «Сладострастные шелесты пальм...», «Синяя седая глава...», «Изумрудных берегов Геджаса...», «Ароматом гвоздики нашептывал ветер сказки древних времен, сказки Шехеразады...», «Ты — свобода — бессмертный, святой Аль-Коран соловьев, что в раю распевают в тиши...», «Салам тебе, Солнце! шюкр<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Шюкр — восточное приветствие (*Прим. В. Брюсова*).

без конца!», «Над вселенною Солнце, раскинув власы, встало Солнце, встал Шемс<sup>1</sup>, кто сильнее, чем Бог!»

И название поэмы — сокращенная форма имени великого средневекового арабского поэта-философа Абул-ала-ал-Маарн. Арабский поэт учился в Алеппо, жил и в Багдаде, откуда, когда «...в сон погрузился» город «на берегах, кипарисами убранных, Тигра», со своим караваном отправился в путь и исаакяновский Абул Ала Маарн. Разумеется, между арабским поэтом и исаакяновским героем есть что-то общее — пессимистическое мировоззрение, ненависть к несправедливому устройству мира, к человеческим порокам, к волчьим законам общества, к гнетущим человека светским и духовным путам (иначе, вероятно, Исаакян не сделал бы его героем своей поэмы). Но в исаакяновском Абул Ала Маарн говорит не человек средневековья, а он сам, армянский поэт двадцатого века, перевоплотившийся в условно-поэтический образ арабского поэта.

Поэма — это трагический монолог, это негодование автора против существующего общественного порядка, глубоко прочувствованное, многими нитями связанное со всем его творчеством. Протест против устройства мира, общественных предубеждений, против лживых и лицемерных нравственных догм, против освященных силой закона тираннии и насилия, против всего, что унижает человека, превращает его в раба.

Я ненавижу, во гневе святом, людские законы, права и суды.  
Где власти закон, там бедняк угнетен, где не дремлют суды,  
там свобода вражды.

Что честь? Или что уважение людей? Чтут золото только, из  
страха нас чтут.

Но чуть поскользнешься,— стал честен другой, над тобой же  
свершают безжалостный суд.

---

<sup>1</sup> Ш е м с — солнце (Прим. В. Брюсова).

И что же богатство? Им каждый глупец покупает и власть, и талант,  
и любовь.  
Богатство — то трупы убитых людей, и слезы сирот, и пролитая  
кровь.  
Да что и отчизна? глухая тюрьма! поле брани и злобы, где  
правит толпа,  
Где тиран беспощадный во славу свою в пирамиду слагает жертв  
череп! <sup>1</sup>

Поэт, кажется, не находит слов в своем богатом лексиконе, чтобы выразить сжигающую его душу ненависть, отвращение, негодование.

Что люди? Под маской — дьявольский лик! у каждого коготь и жало найдешь,  
Копыто и клык; их лживый язык всегда ядовит и колет как нож.  
Что люди? Им любы крохи твои! взирает их взгляд, где от денег  
ключи.  
Готовы отречься, готовы предать, что стая лисиц, палачи, палачи!  
Все низкопоклонны, продажны все, малодушны и лъстивы во дни  
нищеты;  
Все немилосердны, мстительны все, во дни богатства кичливы, пусты.

Удалился Абул Ала от человеческого общества, оторвался от всех и всего.

Еще со времен первых публикаций поэмы в критике установилась традиция рассматривать ее в свете того влияния, какое оказали в ту пору некоторые идеи Ницше на западноевропейскую интеллигенцию. О своем увлечении Ницше в те годы говорил и сам Исаакян. Однако если и можно усмотреть в поэме, вернее, в ее герое какой-то отголосок ницшеанской сильной личности, ницшеанского «сверхчеловека», то он выразился лишь в этом дерзком, всеобъемлющем отрицании всего человеческого общества, в отвержении друзей и родных:

---

<sup>1</sup> Здесь и далее поэма «Абул Ала Маарн» дается в переводе В. Брюсова.

Я не захочу увидеть людей, друзей былых и кровных родных,  
Я не захочу услышать об них, об их делах, ничтожных и злых!

и толпы, и общества:

Ненавижу я черны раболепна, тупа, она повторяет любой глупый  
Но духа гонитель, насилья упор, она, власть почуяв, свирепа как <sup>толк,</sup>  
И общество что? только лагерь врагов, где все неизменно <sup>как</sup>  
Оно не выносит паренья души, стремленья свободной мечты в <sup>презренном плену.</sup>  
<sup>вышину...</sup>

и женщины, и любви:

От женщины беги, и беги от любви, от дружбы и мечты беги  
Мне ненавистно все, что с людьми, мне ненавистна людей даже <sup>целый день,</sup> тень...

Только в одном находит утешение проклинаящая всех  
и вся, истомленная ненавистью и гневом душа — это мать  
и материнская любовь:

Только ты есть добро, милосердна лишь ты, ты — бессмертная мать,  
Поправшая смерть, ты — мать весны, ты выше чудес, ты <sup>благодать, свят, свят, свят!</sup>  
<sup>прекрасна стократ!</sup>

Для Исаакяна мать — источник жизни, воплощение  
человеческого милосердия и доброты. Герой, проклиная  
жизнь, в финале поэмы, в гимне Солнцу — «материнско-  
му лону любви и добра», благословляет жизнь в образе  
матери.

Поразительно: столь презираемая им женщина, как  
только становится матерью, превращается в глазах Абул  
Ала Маари в объект поклонения и прославления. Мать,  
материнская любовь — одна из центральных тем в твор-  
честве Исаакяна — означает любовь к жизни. И это не  
только свидетельство любви Абул Ала Маари к жизни,

утверждение жизни. Это также и утверждение любви к свободе — высшему выражению жизни:

Ты, свобода,— бессмертный, святой Аль-Коран соловьев, что в раю  
распевают в тиши!

И наконец, пламенный восторг перед миром, жизнью:

Вся вселенная — сказка, полная чар, где нет конца и начала где —  
нет.  
Кто же сплел эту сказку, роскошный рассказ, сплел с ней вместе  
созвездья, бессчетность чудес?  
Говорит беспрестанно с таким волшебством на бессчетность ладов,  
говорит, но исчез?

Сколь велика ненависть Абул Ала Маари к порядкам, царящим на земле, столь же велика его любовь к жизни, к миру, его восторг перед этой *возвышенной* сказкой, которая, судя по его гневным проклятиям, должна была бы скорее именоваться *низменной*. Это противоречие и высвобождает Абул Ала Маари из объятий мрачного пессимизма. Поэма, проклинающая жизнь, неожиданно проникается духом любви к жизни, более того — становится гимном любви к жизни. Беспощаден и неумолим Абул Ала Маари в отрицании существующего порядка, всех государственных, правовых, нравственных установлений человеческого общества, но ведь и шекспировский Гамлет — величайший из инспровергателей мирового порядка — говорил: «Пусть буду безжалостен, только во имя добра».

По-видимому, здесь лежит ключ к разрешению противоречия.

Поэма «Абул Ала Маари» была напечатана не полностью впервые в журнале Гарегина Левоняна «Гехарвест» («Искусство», 1909, № 3, Тифлис). Она произвела очень сильное впечатление. Полностью поэма была напечатана в Константинополе в 1911 году.

Поэме суждена была большая жизнь в литературе. С годами слава ее росла, она получила мировое признание<sup>1</sup>.

Год рождения поэмы — 1909-й — был счастливым в творческой жизни Исаакяна, а следующий год оказался знаменательным в его личной жизни — летом 1910 года он женился на Софье Кочарян, девушке, с которой он встретился в 1909 году в Метехской тюрьме, когда она посещала заключенных.

Необычной была свадьба Исаакяна: молодые отправляются из Тифлиса в Александрополь; затем в фургоне, запряженном тройкой, в Казарпат; отсюда в том же убранном цветами фургоне молодые едут в Ани, где под сводами Кафурального собора происходит венчание.

Жизнь поэта полна контрастов — с одной стороны, любовь, женитьба, с другой — преследования властей, ожидание предстоящего суда. Исаакяну недолго оставалось радоваться близости родных и друзей — многих из них ему больше не привелось увидеть. Позднее, на чужбине, он не раз вспоминал эти счастливые времена, в частности один из памятных дней в конце мая 1911 года, когда лучшие представители армянской литературы собрались в Тифлисе на чествование Александра Ширванзаде. В связи с 30-летием его литературной деятельности на Авлабаре<sup>2</sup> состоялось празднество и угощение для простого народа. Среди участников — украшенные седьманами Габриэль Сундукян и Газарос Агаян, Ованес Туманян, Лео, Исаакян. Народ встретил популярных писателей и деятелей культуры с такой теплотой, что Лео

---

<sup>1</sup> По неполным данным, поэма переведена на следующие языки: итальянский (1913), немецкий (1914, 1919), русский (1914, 1956), английский (1925, 1958), эсперанто (1926), еврейский (идиш) (1925, 1958), испанский (1929), грузинский (1931, 1963, 1968), арабский (1940), чешский (1946, 1966), французский (1952, 1955), венгерский (1964), болгарский (1967), сербский (1967).

<sup>2</sup> А в л а б а р — район в старом Тифлисе. — Прим. переводчика.

посчитал необходимым описать эту встречу в газете. Это — один из последних дней пребывания Исаакяна на родине. Вскоре он принял участие в похоронах Газароса Агаяна. Перед отъездом за границу он зашел проститься к Туманяну.

Был скорбный, траурный день. Навечно расставались мы с нашим любимым Патриархом, я должен был покинуть родину, может быть, навсегда. Непередаваемы эти тяжелые минуты расставания.

Уже поздний вечер.

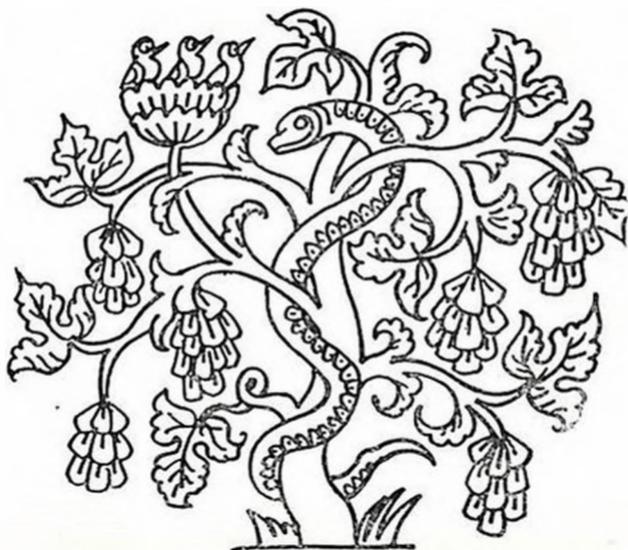
В последний раз мы обнялись молча, ни один из нас не произнес ни слова.

Это была наша последняя встреча...

Один из друзей, привлеченных по одному и тому же делу, — Туманян — остался, чтобы предстать перед судом (куда бежать ему, обремененному большой семьей, — не случайно в денежный залог за него потребовали сравнительно небольшую сумму), другой — Исаакян — решает бежать.

Он возвращается в Александрополь, чтобы проститься с родными, и теплым июльским вечером переходит границу вблизи Карса.

Возвращение на родину для Исаакяна оказалось невозможным гораздо дольше, чем он мог предположить, — целых пятнадцать лет.



С 14 июля 1911 года Исаакян уже не гражданин Российской империи, а политический эмигрант, который в случае возвращения мог подвергнуться аресту как политический преступник — до тех пор, пока существовал царский режим.

Два года Исаакян провел в конституционной Турции. Естественно, он обосновался в столице — Константинополе, где была сосредоточена политическая и культурная жизнь западных армян, как в Тифлисе была сосредоточена культурная жизнь восточных армян.

Источником скольких заблуждений, скольких бед явилось слово «конституционная» Турция для армянских

деятели и писатели! Следствием переворота 1908 года в Турции явилось то, что к власти пришли младотурки и провозгласили «конституцию». 4 декабря того же года открылся новый турецкий парламент, в котором 150 мест — из 230 — принадлежало младотуркам. 10 депутатских мест в парламенте заняли армяне, среди них — Григор Зохраб, не только первоклассный писатель, но и правовед и публицист. Его речи в парламенте слушались с глубоким вниманием, публиковались в турецкой печати.

Фейерверки речей в честь свободы, братства, равенства одурманили всех без исключения. Даже самые трезвые деятели поддались в высшей степени привлекательным, но, как скоро выяснилось, обманчивым иллюзиям.

Легко, оглядываясь на прошлое, судить людей того времени — как могли армянские деятели так слепо поверить младотуркам? Впрочем, если мы с помощью хорошо осведомленного в западноармянской действительности того времени филолога Г. Стефанияна попробуем проникнуть в жизнь константинопольских армян, нам не покажется это странным. «Легко было поддаться обману. В первые месяцы наблюдались такие явные признаки сдружества народов, в частности турецкого и армянского, что трудно было заподозрить их в неискренности. Происходили объединенные собрания, на которых турецкие государственные чины держали братолюбивые речи, государственный оркестр исполнял армянские марши, на вечеринках армянская девушка читала стихи турецкого поэта, а молодая турчанка на армянском языке читала «Свободу» Микаэла Налбандяна... Шесть армянских газет выходило ежедневно и десятки еженедельников, ежемесечных журналов...»

Такова была действительность. Суть политики младотурков не была понята. Настолько сильно было опьянение свободой, что даже резня в Киликии не вызвала отрезвления. В первые две недели апреля 1909 года

тридцать тысяч армян погибло в государстве, управляемом младотурками,— в Адане и ее окрестностях. Но, как писал Г. Стефаниян, «турецкая печать... убеждала армян, что совершившееся в Киликии — следствие фашизма реакционных элементов. Только что вступивший на политическое поприще Талеат клялся, что подобное не повторится».

Люди, к несчастью, простодушно верили этому. Иллюзии свободы еще не рассеялись, когда летом 1911 года политический эмигрант Исаакян появился в Константинополе.

Как сумел он сориентироваться в политической обстановке, господствующей в Константинополе, и в новейших течениях западноармянской литературы? И в том и в другом вопросе он проявил удивительную зоркость и дальновидность. Исаакяна не воодушевили фауны свободы и не обольстили новшества западноармянской поэзии. Во всяком случае, то, что он опубликовал в константинопольской армянской печати, неопровержимо подтверждает это.

Вековая ли мудрость народа, которая по невидимым жилам народной поэзии проникла в него, вековой ли горький опыт народа, который совсем не располагал к оптимизму, или его природный пессимизм — трудно сказать, что именно, или и то и другое вместе удержали Исаакяна в стороне от царящего в турецкой столице восторга — не было у него ощущения, что он, вырвавшись из самодержавного государства, попал в страну конституционных свобод. Напротив, он опубликовал в Константинополе проникнутое самыми скорбными думами стихотворение в прозе «Оплакиваю», которое по силе воздействия может сравниться лишь с одним из самых глубоких средневековых армянских плачей — знаменитым плачем Мовсеса Хоренаци.

Оплакиваю я горькую судьбу твою, о армянский народ,— источник страдания моего.

Кто даст мне моря слез, чтобы оплакать кровь  
и разорение родной земли.

Сплошным мраком представляется поэту действительность, и он, как и Гейне, уподобляет себя преданному псу, стоящему на страже отечества:

Снова оплакиваю я твою тяжкую участь,  
ты — всегда в поисках света, мой армянский  
народ, — и от зари до зари неусыпно и неустанно с преданностью верного пса стерегу  
твой очаг.

Но Исаакян не был бы Исаакяном, автором «Колокола свободы», если бы не завершил, в отличие от авторов средневековых плачей, свое стихотворение призывом к непокорности и возмущению:

Ты хочешь жить. Ты должен жить. Поборник  
света, красоты, ты издавна умел за них  
сражаться. Так разбей же законы и кумиры  
прошлого, развей прахом обветшалые понятия  
добра и зла; из глубин своей души воздвигни  
новый мир высокопарящего духа, для спасения  
всех истерзанных, всех страждущих наших  
душ.

Этот призыв к непокорности и восстанию, конечно, слишком абстрактен, чтобы служить программой к действию. Это ропот презирающего всех и вся Абул Ала Мараи, это все тот же анархический протест поэта против порядков и установлений современного человеческого общества.

В «Колоколе свободы» была программа действия — призыв ко всем кавказским народам объединиться и вместе с русским народом подняться на борьбу с царским самодержавием. Но стихи эти писались в канун первой русской революции, в 1903 году, вдохновленные большими социальными движениями. А сейчас, в Константинополе, поэт не связывал никаких надежд с переворотом, совершенным младотурками, не видел никаких

реальных путей борьбы, перед его глазами был только непроницаемый мрак, и потому вдохновенный его призыв к непокорности и возмущенно звучал абстрактно, неопределенно.

В написанных за два года пребывания в Константинополе стихах, прозаических произведениях и публицистических статьях Исаакяна нет и намека на какие-либо надежды или ожидания, связанные с новой турецкой действительностью.

Точно так же нет в этих произведениях и никаких признаков, обнаруживающих его симпатии к новым веяниям западноармянской поэзии. Слишком глубоко ушли в народную почву корни исаакяновской поэзии, слишком прочна ее связь с классической традицией, чтобы он поддавался поверхностным, скоропреходящим влияниям. Правда, в Константинополе еще не вышла летопись «Навасард», пронизанная духом армянского язычества, книга, в которой Акоп Сируни опубликовал свою статью, прославляющую поэтическое искусство как самодовлеющее эстетическое явление и «удостоенную» на страницах газеты «Мшак» («Труженник») уничтожающей критики А. Сурхатяна; еще не вышел в свет журнал «Капище», в котором Костан Зарян следующим образом аттестует эстетические догмы свои и своих литературных собратьев: «Раз и навсегда усвоим: жизнь — отражение высшего человеческого Я»; «Искусство — абсолютное безумие». «Навасард» и «Капище» появились в печати позднее, в 1913—1914 годах, но обольщение объединившихся вокруг них писателей было порождено иллюзиями, связанными с провозглашением турецкой конституции в 1908 году, когда долгожданная и быстротечная свобода пробудила неожиданные и быстропреходящие надежды.

Исаакяна не увлекли ни доморощенный армянский футуризм, ни субъективный идеализм, ни крайний индивидуализм, ни самодовлеющий эстетизм, ни прославление голый плоти. И ни расцвет новоявленного армянского

язычества — даже в его самых талантливых, вдохновенных проявлениях. Прав Николай Тихонов, который писал, что Исаакян «не увлекался легкими соблазнами поэтических новшеств, не дал распуститься в своем творчестве цветам декадентства, никакие западные эксперименты и требования моды не увели его все же с той прекрасной дороги, где поэт остается с народом, со стихией родного языка».

Аветик Исаакян — такой кроткий, мягкосердечный, снисходительный — с непреклонной, непоколебимой последовательностью оставался верен своему поэтическому миру, своей родной стихии, своим принципам.

Одно из писем Исаакяна более поздних лет, 1925 года, ясно показывает, что творческая позиция его в те времена была не произвольным проявлением его поэтической стихии, а совершенно осознанным эстетическим принципом. Он пишет, что во время пребывания в Константинополе у него было критическое отношение к «испорченному, офранцузившемуся вкусу» некоторых западноармянских поэтов, к их символизму и чуждым, неорганичным армянской поэзии увлечениям. Поэт пишет с глубоким убеждением:

Истина заключается в том, что если я, О. Туманян, или Иоанниснан используем армянский народный слог и стиль, то делаем мы это с мыслью, что разрабатываем истинно национальную литературу.

Ценное свидетельство, в котором ясно выражена творческая программа не одного только Исаакяна, но целого литературного направления.

Для большей ясности Исаакян в том же письме показывает, что в его глазах является мериллом жизненной поэзии:

...вопрос вкуса. Для меня «Über allen Gipfeln ist Ruh» Гёте — драгоценнейший перл мировой литературы, до которого не поднялась

вся французская литература. Его я держу (мысленно) перед глазами, когда что-нибудь пишу. Простое, незамысловатое, наивное, но глубокое и прочувствованное...

Стоит привести здесь целиком это стихотворение Гёте в вольном переводе Лермонтова, чтобы понять, что было для Исаакяна образцом истинного поэтического искусства.

Горные вершины  
Спят во тьме ночной;  
Тихие долины  
Полны свежей мглой;  
Не пылит дорога,  
Не дрожат листья...  
Подожди немного,  
Отдохнешь и ты.

Поэзия — прежде всего факт жизни, обязательно лично пережитый, обязательно продиктованный реальной действительностью, — таково убеждение Исаакяна. Вернее сказать: и Исаакяна тоже, так как он не был ни первым, ни последним в числе тех, кто исповедовал это убеждение. И, удалившись от родины, живя в Константинополе, не приемля чуждые направления в поэзии, он продолжал говорить так, как предписывала ему его собственная стезя, — вполне осознанно «просто, незамысловато, наивно, но глубоко и прочувствованно»:

Мне грезится: вечер мирен и тих,  
Над домом стелется тонкий дым,  
Чуть зыблются ветви родимых ив,  
Сверчок трещит в щели, невидим.  
У огня сидит моя старая мать,  
Тихонько с ребенком монм грустит.  
Сладко-сладко, спокойно дремлет дитя,  
И мать моя молча молитву творит:  
«Пусть прежде всех поможет господь  
Всем дальним странникам, всем больным,  
Пусть после всех поможет господь  
Тебе, мой бедный изгнанник, мой сын».

Над мирным домом струится дым,  
Мать над сыном моим молитву творит.  
Сверчок трещит в щели, невидим,  
Родимая ива едва шелестит.

*(Перевод А. Блока)*

Это то самое качество поэтического искусства, которое вызывало восхищение Ваана Теряна: «самобытная изобразительная сила», «стихийная непосредственность чувства»; это — «та поэтическая форма и тот стиль, которые создали школу в нашей литературе».

Это то качество мастерства, о котором Мариэтта Шагинян писала: «...читатель ошибется, если подумает, что доступность поэзии Аветика Исаакяна связана с безыскусностью и первичной простотой. Большое и утонченное искусство лежит в основе простоты Исаакяна».

Стихотворение «Мне грезится: вечер мирен и тих...» написано в Константинополе в 1911 году и увидело свет, когда поэт уже покинул Турцию и переехал в Швейцарию.

Счастье улыбнулось поэту. Останься он в Константинополе, его постигла бы та же участь, что и всех западноармянских писателей, остававшихся в Турции, — Сиаманто, Варужана, Зохраба, Рубена Севака и многих других. Все они погибли во время резни весной 1915 года.

Исаакян покинул Константинополь — город, хранящий следы прошлых злодеяний и чреватый новыми преступлениями, город несправедливости и беззакония, где так зыбка была судьба любого человека, тем паче судьба армянина и деятеля армянской культуры, — и нашел пристанище в мирной, безмятежной Швейцарии, стране с твердо установившимся распорядком жизни, со свято охраняемой великолепной природой.

\* \* \*

Сведений о зарубежной жизни Исаакяна, в особенности в годы первой мировой войны и непосредственно предшествовавшие ей и последовавшие за нею, очень мало.

Естественно, в это смутное время он мало общался с соотечественниками — до нас дошли скудные воспоминания, редкая, случайная переписка. В эту жестокую и особенно трагическую для его народа пору он писал мало.

Среди немногочисленных воспоминаний привлекают внимание записи земляка и давнего друга поэта Гарегина Левоняна. Весной 1913 года он навестил Исаакяна в Швейцарии, в деревушке Колонж, расположенной недалеко от Женевы, куда поэт выехал с женой и сыном на лето. «Красивое дачное место, с чистыми улочками и аллеями». Левоняна поразило, что «местные крестьяне при встрече... учтиво кланялись поэту или почтительно вставали, когда он проходил мимо». А также то, что его «часто навещали приезжавшие из столицы армянские и других национальностей студенты, писатели, художники».

Неделю жил у него в доме Гарегин Левонян. Когда он уезжал, поэт обратился к нему с просьбой: «...вернешься в Тифлис, возьми на себя труд — поезжай хоть на один день в Александрополь, навести мою мать, передай ей мой горячий привет и напиши мне, как ты нашел ее».

Левонян, хотя и с вынужденным опозданием, выполняет просьбу Исаакяна.

«Алмаст-ханум сидела на тахте, опираясь на мягкие подушки... Я приблизился к ней, поцеловал руку и, справившись о самочувствии, передал горячие поклоны Аветика.

От радости она заплакала. Очень постарела мать, но лицо ее сохранило привлекательные и симпатичные черты.

— Подойди поближе, Гарегин-джан, поцелую тебя в глаза, — ведь ты от моего Аветика приехал. Он не сказал, когда вернется? Ох, я очень истосковалась по нему».

Это было в конце 1913 года. Через полгода началась первая мировая война, которая разлучила многих сыновей и матерей. «Я очень истосковалась» — эти слова бились и в сердце сына. И если верна мысль о том, что поэ-

зия — это выражение тоски («От тоски происходит все великое. Что такое идеалы, как не духовная тоска?» — писал Туманян в одном из своих писем), то тоска Исаакяна по матери, причинявшая ему столько горя и страдания, породила непреходящие ценности поэтического искусства. Более того, пламенная, коленопреклоненная, негасимая любовь к матери стала неумолкающей мелодией всего его творчества — рядом с любовью к родине и любовью к женщине.

Мелодия эта была столь близка и дорога всем, что в народном сознании Исаакян живет прежде всего как певец материнской любви. Во всяком случае, в армянской литературе ему отводится место самого пылкого певца материнской любви. И это правильно, потому что для Исаакяна материнская любовь — самая высокая и благородная среди всех мыслимых ценностей человеческой нравственности, самая, если не единственно, верная, самая самоотверженная, достойная поклонения любовь.

Живя в красивой, уютной швейцарской деревушке и тоскуя по родине и матери, по друзьям и духовно близкой литературной среде, Исаакян не подозревал, что его творчество стало предметом споров на родине.

Основанное и возглавленное Ованесом Туманяном Общество армянских писателей посвятило свой очередной вечер в марте 1913 года Исаакяну. Были высказаны мнения и за и против его поэтического направления и стиля, но, главное, было отмечено самое ценное для Исаакяна — близость его поэзии художественному мышлению народа. Было признано также, что он, подобно Туманяну и Иоаннисану, создает стиль, близкий народному поэтическому стилю. В том же году Исаакян утомляется критикой такой оценки, которая чрезвычайно бы его обрадовала, имей он в Швейцарии возможность читать армянские газеты: «В другом обществе Исаакян был бы национальной гордостью».

Но в наступившие тяжелые времена армянское об-

щество, конечно, было озабочено отнюдь не вопросами литературы и искусства. В обстановке, сложившейся вследствие балканской войны 1912 года, снова всплыл армянский вопрос. Он становится предметом обсуждения печатных органов, представляющих самые различные общественные течения, начиная с «Правды» и армянской большевистской печати и кончая газетами и журналами либерального, националистического и консервативно-клерикального направления. Общим был предмет обсуждения, но очень разными аспекты и точки зрения в толковании его, кардинально расходились и предлагаемые пути разрешения вопроса.

С этого времени — так продолжалось на протяжении семи-восьми лет — до 29 ноября 1920 года, когда победа большевиков в Армении положила конец бедствиям народа, армянская пресса, наводненная статьями самого разнообразного толка, всех обратила в политиков.

Во Франции из-под пера не знавшего усталости Аршака Чопаняна одна за другой выходили статьи, полные наивных упований, источником которых была скорее традиционная вера в гуманизм, нежели понимание реального соотношения сил.

Ованес Туманян в 1912 году возвещает приближение беды: «Снова страшные кошмары резни гнетут наши усталые сердца, и снова повсюду бледнеет извечный страдалец Востока — армянский народ» — и связывает положительное разрешение мучительного вопроса исключительно с ориентацией на Россию.

«Ради разрешения нашей проблемы работаю день и ночь...» — пишет в 1913 году из Константинополя Григор Зохран Аршаку Чопаняну. В той или иной мере это относилось и к другим западно-и восточноармянским деятелям — в Константинополе ли, Тифлисе, Москве или во Франции и других странах.

Это было злобой дня армянской жизни, и она вовлекла в свое течение всех.

В конце 1913 года в Москве Александр Мясников (Мясникян) прочитал лекцию об армянском вопросе. После нее последовал обмен мнениями, в котором приняли участие поэт Александр Цатурян, искусствовед Алексей Дживелегов — видный исследователь итальянского Возрождения. Армянские деятели, каждый в меру своего понимания и своих сил, в той или иной форме старались содействовать общему делу. В их числе был и Исаакян.

В мае 1914 года в одной из армянских газет можно было прочитать следующее сообщение, поступившее из Лейпцига: «На днях отсюда в Берлин выехал Аветик Исаакян для работы в редакционном составе германо-армянского ежемесячника...» Весть эта подтвердилась. В Берлине создается «Германо-армянское товарищество», которое выпускает еженедельную газету на немецком и армянском языках под названием «Месроп». В это товарищество, призванное содействовать взаимопониманию двух народов, входили известный своей безоговорочной поддержкой интересов Армении доктор Лепсиус, видный армяновед профессор Маркварт и другие немецкие и армянские деятели, в числе которых был и Аветик Исаакян.

Это происходило уже в самый канун первой мировой войны.

С какими надеждами, с какой наивной верой отправился армянский поэт в хорошо знакомую ему Германию, в любимую Германию Гёте, Гейне, Бетховена, в страну, которая должна была сыграть такую пагубную роль в судьбе армянского народа. Жгучая ненависть к кайзеровской Германии, пробудившаяся в годы первой мировой войны, долго тлела в душе поэта, чтобы много лет спустя — в годы второй мировой войны — снова возродиться и обратиться уже против гитлеровской Германии. К аккумуляции ненависти привел жизненный опыт грядущих лет, а пока, до начала первой мировой войны, Исаакян вместе со многими другими надеется, уповая на заключенную государствами конвенцию, на движение в пользу

армян в разных странах, на победу гуманистических идей братства народов.

19 июля 1914 года началась первая мировая война и погребла эти надежды.

Конечно, никто не мог знать, что на следующий же день — 20 июля — в Стамбуле будет заключен тайный союз между Германией и Турцией, но каждому было ясно, что Турция будет в одной упряжке с Германией. 16 октября Турция уже вступила в войну, через два дня русские войска получили приказ перейти турецкую границу.

21 октября русские войска взяли Дияды и Баязет.

10 ноября турецкие войска потерпели поражение на всем Эрзерумском фронте.

23 декабря — решительный разгром третьей турецкой армии под командованием Энвера-пашы под Сарыкамышем и крушение германо-турецких планов завоевания Закавказья.

Вместе с русскими войсками сражались армянские добровольческие части. Тифлиссские лазареты оказались переполнены ранеными солдатами — русскими и армянскими.

Многие сложили головы на полях сражений Кавказа, как и тот герой в борьбе за освобождение родины, смерть которого с такой проникновенной печалью оплакал Аветик Исаакян:

В долине, в долине Салиб<sup>1</sup> боевой,  
Ранен в грудь, умирает гайдук.  
Рана — розы раскрытой цветок огневой,  
Ствол ружья выпадает из рук.

Запеваает кузнечик в кровавых полях,  
И, в объятьях предсмертного сна,

---

<sup>1</sup> С а л и б — горная местность в Турецкой Армении. — *Прим. А. Блока.*

Видит павший гайдук, видит в сонных мечтах,  
Что свободна родная страна...

Снятся нива — колосья под ветром звенят,  
Снятся — звякая, блещет коса,  
Мирно девушки сено гребут, и звучат,  
Все о нем их звенят голоса...

Над долиной Сално туча хмуро встает,  
И слезами увлажился дол.  
И сраженному черные очи клюют  
Опустившийся в поле орел...

*(Перевод А. Блока)*

Поэту-эмигранту, не имевшему права вернуться на родину, оставалось с трепетом в сердце следить из мирной, безмятежной Швейцарии за тем, как решалась судьба народа. А народ жил и ликованием по поводу побед на поле боя над вековечным врагом, и страхом ожидания возможной резни. Вероятность превратилась в реальность, и в таких ужасающих размерах, какие не могло представить даже самое мрачное воображение.

Уже в декабре 1914 года началось выселение из Турции и уничтожение армян, которое с апреля 1915 года уже осуществлялось как государственная программа. Это было продолжением и чудовищным завершением проводимой на протяжении веков политики турецкого правительства.

«Использував военную обстановку, турецкая реакция учинила в 1915—1916 годах кровавую расправу над безоружным и незащитным армянским населением. Физическое истребление более полутора миллионов мирных граждан было осуществлено с фанатичной, беспощадной жестокостью. Германский империализм, который в то время пользовался огромным влиянием в Турции, по сути санкционировал это страшное преступление и также несет за него ответственность... Передовая обществен-

ность, видные деятели рабочего и социалистического движения, науки, литературы и искусства клеймили позором варварство погромщиков. К. Либкнехт, В. Коларов, Ф. Нансен, Р. Роллан, А. Франс неоднократно выступали со страниц печати, на публичных собраниях, с трибун парламентов, требуя прекратить позорное преступление» («Правда», 24 апреля 1975 года).

Выступления и статьи в пользу армян, публикуемые в разных частях света, настойчивые обращения правительств не смогли предотвратить беду. И эти годы стали самой черной страницей в многострадальной армянской истории.

«Еще не все потеряно,— писал Аршак Чопанян весной 1915 года,— еще засияет луч света и откроет новую главу в истории истекающего кровью армянского народа. Без этой веры я бы сошел с ума». Не вынес кровавых ужасов рези и душевно заболел весной того же года выдающийся армянский композитор Комитас.

Туманян не л о своей «растерзанной и обездоленной» родине, родине «горя и сирот», но верил, что увидит родину «света и надежды».

Исаакян в том же 1916 году, оставаясь в Женеве изгнанником, скорбит о своем народе:

Умопомрачающая судьба армянского народа  
убила меня. Я буквально не мог держать в  
руке перо... Хочу вернуться на родину — нет  
денег, кому ни писал — нет ответа.

Поэта, подавленного скорбью, редко посещает поэтическое вдохновение. Но бывали минуты поэтического озарения. В одну из них родился шедевр, в котором, как предписывает кредо поэта,— простота, незатейливость и глубина чувства и мысли:

Стоит над рекой  
Печальная пва  
И смотрит с тоской  
В поток торопливый.

Мгновенья не ждут.  
И воды, и люди  
Придут и уйдут.  
Так было, так будет.

Что ж ива, склоняясь,  
Слезами исходит?  
Течение, резвясь,  
Приходит, уходит...

*(Перевод Т. Спендиаровой)*

Много лет спустя поэт рассказал Стефану Зорьяну о том, как родилось это стихотворение:

...Это было в Швейцарии. Однажды по пути в деревню я увидел склонившуюся над рекой грустную иву. Под ее поникшими ветвями бежали струи воды... Вся картина показалась мне похожей на человеческую жизнь... Пока я дошел до дому, стихотворение уже сложилось...

К той же поре относится создание и другого лирического шедевра поэта. Это прославленное «Завещание», последние строки которого своим пессимистическим настроением выделяются даже в исаакьяновской поэзии:

Меня схорони, мой милый,  
Лишь там, куда нет пути,  
Чтоб камня с моей могилы  
Никто не мог унести.

*(Перевод Н. Стефановича)*

Таким мрачным, беспросветно мрачным было настроение поэта 1 декабря 1917 года, когда он писал это стихотворение. Личные, национальные, общечеловеческие беды глубоко ранили душу поэта. Следующий год принес новое неутешное горе — смерть матери. Мать была для него самым близким, самым дорогим человеком. Поэту при-

надлежат слова: «Стоило родиться хотя бы ради того, чтобы иметь мать». Во время учебы за границей, в 1893 году, он написал стихотворение «Моей матери»:

От родимой страны удалился  
Я, изгнанник, без крова и сна,  
С милой матерью я разлучился,  
Бедный странник, лишился я сна.

С гор вы, пестрые птицы, летите.  
Не пришлось ли вам мать повстречать?  
Ветерки, вы с морей шелестите,  
Не послала ль привета мне мать?

По лицу да по ласковой речи . . . . .  
Стосковался я, мать моя, джан,  
Был бы сном я — далече, далече  
Полетел бы к тебе, моя джан,

Ночью душу твою целовал бы,  
Обнимал бы, как сонный туман,  
К сердцу в жгучей тоске припадал бы  
И смеялся и плакал бы, джан!

*(Перевод А. Блока)*

И теперь, получив весть о смерти матери, он изливает на бумагу бездонную свою скорбь:

Мне сказали, что больше не встречусь с тобой,  
Что покрыла тебя беспредельная мгла,  
Что лицо твое кроткое — прах гробовой...  
Нет тебя, той, что самую доброй была.

Но я знаю, меня не покинула ты,  
Где-то рядом со мною всегда ты стоишь...

*(Перевод А. Ахматовой)*

Это было огромное горе, которое слылось, как сказал поэт в одном из писем, с морем скорби народной.

Исаакяну суждено было переживать свои печали на чужбине, жадно ловя в печати разных стран мира выражения сочувствия и симпатии к своему многострадальному народу.

Он читал о том, что 14 января 1918 года коммунист Карл Либкнехт — один из депутатов германского парламента — осудил правительство, бросив ему в лицо всю правду о преступлении, совершенном против армянского народа.

О том, что в Париже, в Сорбонне, был организован вечер в защиту армян, на котором выступили с речами член сената Дешанель, Анатолий Франс и другие.

О том, что в 1918 году в Париже Аршак Чопанян выпустил в свет первый том армянской поэзии на французском языке и известные французские писатели и ученые высказали в печати восхищение духовным богатством гибнущего на глазах у всего мира народа.

О том, что в Италии опубликован перевод поэмы Костана Зарьяна с иллюстрациями известного итальянского художника «в знак любви, веры и надежды к бедствующему христианскому народу, стонущему в жестоких цепях».

\* \* \*

Конечно, самую большую моральную поддержку оказала армянам русская интеллигенция. В мае 1916 года в Петрограде вышел «Сборник армянской литературы» под редакцией Максима Горького. Книга была очень хорошо встречена и получила высокую оценку Степана Шаумяна в большевистской газете «Пайкар» («Борьба»).

Еще более широкий отклик получил выпущенный в Москве в 1916 году солидный том «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней». Валерий Брюсов, который был организатором и редактором книги, а также автором обстоятельной вступительной статьи, характери-

зующей многовековую историю поэзии Армении, приезжал на Кавказ — в Тифлис, Баку, Ереван — с лекциями об армянской поэзии. Лекции имели небывалый успех. Тумаян откликнулся на них взволнованными словами: «В дни, когда мы, изнемогая от бремени национального бедствия, чувствуем себя физически слабыми и беспомощными, в эти дни приезжает к нам с далекого севера знаменитый русский поэт Валерий Брюсов и говорит о нашем величии, о моральной, духовной силе армянского народа — о его поэзии... За это высокое и прекрасное начинание я сердечно благодарю вас от имени Общества армянских писателей».

Книга «Поэзия Армении» вызвала восхищение Тумаяна. «И с каким уважением составлена, с каким вкусом напечатана эта книга, как великолепно в своей простоте. Поэтому каждый берущий ее в руки — армянин ли или кто другой — проникается любовью и уважением к нашему, знавшему больше врагов, чем друзей, племени».

Лучше всего в этой книге, пожалуй, была представлена поэзия Исаакяна. И не удивительно, потому что в ней была напечатана поэма «Абул Ала Маари» в переводе Брюсова и целый ряд стихотворений в переводах Александра Блока, который писал по поводу этой своей работы в одном из писем: «...не знаю, как вышел перевод, но поэт Исаакяна — первоклассный; может быть, такого свежего и непосредственного таланта теперь во всей Европе нет».

Исаакяну не выпало счастливого случая лично выразить благодарность русским собратям по искусству. Он писал из Женевы своему другу, прозанку Карену Микаэляну, проживавшему в Москве:

Больше месяца, как я получил «Поэзию Армении» — грандиозные усилия и грандиозное дело, не имеющее себе равных. Я написал уже письмо-благодарность Московскому Комите-

ту...<sup>1</sup> Передай глубокую признательность г-ну Брюсову и скажи, что он — один из самых больших и искренних друзей армянского народа.

Много лет спустя, в 1949 году, Исаакян посвятил вдохновенные строки памяти Брюсова:

Он показал России и так называемой «цивилизованной» Европе, какое ужасное, какое непоправимое преступление совершают турецкие варвары, уничтожая древний народ, который выполнял в мире и способен был выполнять культурную роль.

Об Александре Блоке он не написал статьи, но однажды сказал:

Случилось так, что Блок узнал меня раньше, чем я услышал о нем. Благодаря Брюсову, он в 1915 году (я был тогда в эмиграции) познакомился с моими стихами, которые перевел и, более того, как я узнал позднее, сказал обо мне лестные слова, которые служили мне и, кажется, и поныне служат своеобразным «дипломом» в среде русской интеллигенции.

Благодаря блоковским переводам Исаакян вошел в русскую поэзию. Много лет спустя Мариэтта Шагинян вспоминала: «Армянский народ стихами Исаакяна воспел свою любовь к родной стране, свою боль и горести. И впервые даже русский читатель познакомился с Исаакяном в «звуковом» выражении, когда в начале десятых

---

<sup>1</sup> Московский Армянский комитет был создан в 1915 году для оказания помощи армянскому населению, бежавшему из Западной Армении после организованной младотурками резни. Комитет обратился к Брюсову с просьбой взять на себя составление и редактирование антологии «Поэзия Армении». Комитет издавал еженедельник «Армянский вестник», фактическим редактором которого был А. К. Дживелегов.

годов нашего века в концертных залах зазвучала широкая и грустная мелодия «Ивушки».

Ночью в саду у меня  
Плачет плакучая ива,  
И безутешна она,  
Ивушка, грустная ива.

Раннее утро блеснет —  
Нежная девушка-зорька  
Ивушке, плачущей горько,  
Слезы кудрями отрет».

Музыку к «Ивушке» написал Сергей Рахманинов. Мариэтта Шагинян вспоминает, что говорил по этому поводу сам композитор: «Говоря о своих новых песнях на стихи, приготовленные мною для него в специальной тетради, Сергей Васильевич Рахманинов как-то сказал: «...легче всего я писал «Ивушку». Удивительно музыкальное чувство природы у этого армянского поэта. Если б все так писали в стихах о природе, как он, нам, музыкантам, оставалось бы лишь дотронуться до текста — и готова песня».

В истории русско-армянских литературных и культурных отношений много прекрасных страниц, одна из которых связана с именем Исаакяна. Он был молодым поэтом, когда в русской литературной прессе появились первые переводы его стихотворений (первая публикация относится к 1899 году). Но, как верно отметил Левон Мкртчян, автор книги «Аветик Исаакян и русская литература», «русский» Исаакян начинается не с этих переводов, в которых «явственно чувствовалась попытка «подогнать» Исаакяна под поэтику русского символизма», а с перевода Иваном Бунинным стихотворения «Моя душа объята тьмой полночной...», опубликованного в 1907 году:

Моя душа объята тьмой полночной,  
Я суетой земною истомлен.

Моей душой, безгрешной, непорочной,  
Владеет дивный и великий сон.  
Бескрылый ангел в небе реет,  
На землю дева сходит, и она  
Дыханьем звезд, лобзаньем неба светит  
С моей души ночные чары сна.  
И день и ночь ее прихода жду я,—  
Вот-вот она покинет небосклон,  
Рассветит ночь души — и, торжествуя,  
Я воспою мой дивный, вещий сон.

Здесь впервые на русском языке воссоздано то утонченное поэтическое настроение, которое характерно для оригинала. Но если перевод Исаакяна явился в творчестве Бунина единичным эпизодом, то Блок отдал воссозданию на русском языке произведений Исаакяна многие часы творческих мук и поэтического вдохновения, создав истинные шедевры переводческого искусства.

Автор книги «Аветик Исаакян и русская литература», тщательно исследуя творческую лабораторию Блока, показывает, как великий поэт для перевода одной строки Исаакяна создает пять — шесть, а иногда даже десять — двенадцать вариантов. 30 ноября 1915 года Блок писал жене Брюсова Жанне Матвеевне: «Очень извиняюсь, что так долго задерживаю стихи Исаакяна; это происходит не оттого, что я ими не занимаюсь; напротив, я бьюсь над ними часто, но этот прекрасный поэт невероятно труден для передачи».

Сестра поэта вспоминает: «Александр Александрович не удовлетворялся одним подстрочником, он просил читать стихи вслух, чтобы запомнить их ритм. При этом он выказал поразительную память, запомнив не только ритм, но и целые строфы стихов на совершенно незнакомых ему языках<sup>1</sup>. Ему очень нравилось декламировать их нам с матерью. Переводами этими он увлекался.

---

<sup>1</sup> А. Блок одновременно со стихами Исаакяна переводил латышских и финских поэтов.

Все они хороши, но лучше всего удались ему переводы прекрасных стихов армянского поэта Исаакяна».

Плодом великого таланта и великого труда А. Блока явились такие поэтические шедевры, как:

Караван мой бренчит и плетется  
Средь чужих и безлюдных песков.  
Погоди, караван! Мне сдается,  
Что из родины слышу я зов.  
Нет, тиха и безмолвна пустыня,  
Солнцем выжжена дикая степь.  
Далеко моя родина ныне,  
И в объятьях чужих моя джан.  
Поцелуям и ласкам не верю,  
Слез она не запомнит моих.  
Кто зовет? Караван, шевелись,—  
Нет в подлунной обетов святых!  
Уводи, караван, за собою  
В неродную, безлюдную мглу.  
Где устану — склонюсь головою  
На шипы, на утес, на скалу...

То, что совершил Блок, может быть оценено с точки зрения самых высоких не только творческих, но и нравственных критериев. Так оно и было сделано благодарными потомками.

«Переводя Исаакяна, я во многом доверялась блоковскому чутью (в смысле духа подлинника) и втайне считала своим редактором Блока, считаясь прежде всего с его требованиями... Блок мне открыл душу этого человека, как он ее понимал, и я ему поверила. Еще большее значение для меня имел перевод Блока «Караван мой бренчит и плетется...», — признавалась современная переводчица Исаакяна Надежда Павлович. — Нелегко найти параллели Исаакяну в истории русской поэзии. Его драгоценный ларец не откроется ключом Кольцова, или Лермонтова, или Бальмонта. Какне-то интонации могут быть подказаны, пожалуй, Фетом или Блоком...»

А большой друг армянской поэзии, поэт и переводчик Вера Звягинцева раскрыла отношения Блока и Исаакяна в прекрасных стихах:

Еле брезжили краски рассвета  
В те далекие годы, когда  
Побратались в стихах два поэта,  
Чтоб остаться в родстве навсегда.

Словно отклик из глуби колодца  
Был для Блока глухой этот зов:  
«Караван мой бренчит и плетется  
Средь чужих и безлюдных песков...»

Благодаря Блоку Исаакян вошел в русскую поэзию. И армянский поэт ценил это более всего. Ведь это была та самая литература, почитателем которой он оставался всю свою жизнь. Еще в 1909 году, когда Юрий Веселовский обратился к армянским писателям с анкетой, он получил от Исаакяна такой ответ: «Я всегда любил русскую литературу, роман и поэтическое творчество, глубоко убежденный в том, что, в частности, *русский роман* многими своими сторонами, особенно своим пророческим вододушевленным, *значительно превосходит западноевропейский*».

В последующие годы любовь Исаакяна к русской литературе, и в частности к поэзии, все более углублялась, и он не упускал случая выразить это свое отношение: «Армянский народ, благодаря армянским переводам, вот уже сто лет, с 1843 года, наслаждается мудростью и прелестью поэзии Пушкина». Ему близко человеколюбие Пушкина, его поддержка борьбы угнетенных народов — греков и сербов, разделявших судьбу армян, — против жестокой турецкой деспотии. Он убежден: «...никогда не скажут последнего слова о Пушкине, ибо его великая судьба, его гениальные творения не знают границ познания».

Такое же восхищение вызывала у Исаакяна поэзия Лермонтова.

Не могу не признаться, что еще с детских лет любимым моим поэтом был возвышенный, точно Казбек, и глубокий, словно Дарьял, Лер-

монтов, творчеством которого я часто вдохновлялся, а именно его лирическими стихотворениями, «Демоном», «Мцыри» и, особенно, «Песней про купца Калашникова».

В Пятигорске в домике Лермонтова Исаакян написал стихотворение, посвященное великому русскому поэту:

Как в клетке орел, верный высям небесным,  
Ты жил в этом домике, низком и тесном,  
Горящий свой взгляд обратив одиноко  
К вершине Казбека, сиявшей далеко.

Был мрачен твой век и, как домик твой, тесен,  
И думы свои и огонь своих песен  
Поверх всех голов равнодушного сброда  
Ты бросил в грядущие дальние годы.

*(Перевод В. Звягинцевой)*

Армянского поэта вдохновляла не только русская литература, но и свободолюбивая душа русского человека. Еще в 1905 году, который он назвал «навечно забываемым годом», поэт, восхищенный великим подвигом русского народа, написал проникнутое революционным духом стихотворение «Орленок», где были такие строки: «Вы пленники и рабы бесправные, вас угнетают и режут; они пользуются вашим трудом и вас терзают. Я говорю вам: объединяйтесь, злосчастные люди всех стран, объединяйтесь против ваших тиранов! Пробудись, толпа рабов! Поднимись на борьбу: тебе нечего терять, кроме своих цепей, а обретешь ты весь мир...» (Литературоведы давно уже отметили совпадение этой формулы с известным призывом «Манифеста Коммунистической партии».)

В 1905 году поэта вдохновляла революция на родине, а сейчас, в 1917 году, находясь в эмиграции в Женеве и получив известие о Февральской революции, Исаакян не находит слов, чтобы выразить свою радость:

Сердце мое слишком мало, чтобы вместить  
эту огромную, безграничную радость. Знаешь,

дорогой, сердце мое от постоянных страданий, горя, забот высохло, съежилось и... вдруг — великая радость великой свободы великой России... Целую тебя, обнимаю всех-всех хороших людей и кричу: Да здравствует Россия! Да здравствует русский человек!

Таким же точно настроением проникнута статья Туманяна «Освобождение богатыря», которая заканчивается словами:

«Теперь у каждого гражданина России должна быть только одна забота — в меру своих сил стать опорой вставшему на ноги богатырю, крепко поддерживать его, чтобы стоял он прочно.

Этого требуют как интересы всего народа, так и каждой отдельной личности».

Но Туманян был вместе со своим отечеством, в стране, совершившей исторический переворот, был свидетелем и участником развивающихся событий, тогда как Исаакян оставался вдалеке от родины.

В сумятице военного времени до него доходили только неточные сведения о том, как 25 октября 1917 года совершилась Великая Октябрьская социалистическая революция, которая сыграла огромную роль в жизни всего человечества. Позднее он постиг глубокий смысл этого переворота в мировой истории.

Из еще более недостоверных сведений он мог узнать о событиях, совершающихся в Закавказье:

о том, как в 1918 году был организован Закавказский сейм, вынесший предательское решение об отделении от революционной России, последствия которого оказались такими пагубными для армянского народа;

о том, как в том же году сейм был распущен и созданы три националистические республики с их недалёковидной, враждебной по отношению друг к другу политикой;

о том, как в мае того же 1918 года произошла героическая Сардарпатская битва и как одержанная в ней

армянским народом победа спасла Восточную Армению; о том, как в августе 1920 года был заключен благоприятный для армян Севрский договор, который остался на бумаге, став для армян источником тщетных надежд и обманчивых иллюзий и сделав их врагов еще более яростными и непримиримыми;

о том, как 29 ноября 1920 года была установлена в Армении Советская власть и измученный и не раз обманутый народ ее обрел наконец мир и спасение.

Исаакян в скорбном оцепенении следил за этими с головокружительной быстротой развивавшимися событиями. Судя по его творчеству, многочисленным письмам и воспоминаниям, это единственное, что занимало его мысли.

Мы, потомки, обязаны разобраться в мучительных переживаниях живших 50—60 лет назад армянских общественных и литературных деятелей, в том числе и Исаакяна, иначе мы не сможем понять, как из уст поэта — тончайшего и проникновенного лирика — срываются гневные и жестокие проклятия («Так проклятье ж всей земной утробе»).

Мы должны понять, каким огромным жизненным опытом были рождены его слова: «Для нас, армян, казак (то есть русский солдат.— Л. А.) — большая реальность, чем все западные деятели со всеми их речами в пользу армян». И более определенно: «По-моему, Армения и армянский народ могут существовать только с Россией или совсем не могут существовать. Все прочее — нечто большее, чем переходящая все границы глупость».

Слова эти взяты из письма 1921 года, написанного из Венеции в Тифлис Туманяну.

Письмо это столь же знаменательно, как и ответ Туманяна.

Весной 1921 года Исаакян переезжает из Женевы в Венецию. Причины переезда он объяснил так: здесь, в Венеции, он мог пользоваться армянской библиотекой

конгрегации мхитаристов, мог существовать на более скромные средства («дешевая жизнь») и, самое главное, мог дать сыну образование в армянской школе мхитаристов Мурад-Рафаэлян. Материальное положение поэта за границей было более чем скромным. Если вспомнить, что занимаемая им квартира в Венеции, вблизи площади Св. Марка, была так мала, что не позволяла приютить на ночь даже одного гостя, можно представить себе, как жилось поэту в этом прекрасном итальянском городе. Но не материальная необеспеченность была источником его переживаний, а трагическая судьба родины, тоска по ней. Не обычная тоска, а та самая, которая обозначается термином — ностальгия.

Уже 1 июля 1921 года он пишет в упоминавшемся выше письме Туманяну:

Ежели времена подходящие, напиши, приеду. Если же еще война, ненависть, вражда, я не вернусь.

Туманян в октябре 1921 года ответил своему младшему другу, это было его последнее письмо. Истинно туманяновское письмо — сердечное, открытое, ничего не утаивающее:

«Получил твое письмо. Говоришь, ежели времена подходящие, — скажи, приеду.

Не знаю, какие времена ты называешь подходящими, но я говорю тебе:

— Приезжай!

— Приезжай, Аво джан!

Для нас таких подходящих времен не было и, быть не может, не будет, но ты приезжай.

Приедешь — увидишь, что край наш разрушен, народ наш перебит, оставшиеся в живых надломлены, ряды друзей и близких поредели. Увидишь, как много досталось на нашу с тобой долю из этого мирского океана горя, но приезжай.

Я знаю, что и там для тебя ничего подходящего нет — ни места, ни времени, ни среды, ни средств.

Наконец, ты, верно, соскучился по нашей земле и воде, по родным и друзьям. Вместе с тем должен тебе сказать, что наше нынешнее правительство много лучше, чем ты можешь себе вообразить. В частности, литература и искусство в наших краях никогда еще не были окружены таким вниманием.

Прежде чем это мое письмо дойдет до тебя, ты уже будешь знать, что некоторым нашим писателям и артистам назначено пособие, а в скором времени ты узнаешь из печати, что людям искусства предоставляются всяческие льготы, удобства и возможности. Там ты и свое имя прочтешь. О тебе мы говорили со всеми комиссарами, в частности с комиссаром просвещения и председателем Мясникяном, который получил письмо от тебя. И мне поручили, чтобы я позвал тебя и передал, что тебя поддержат, чем только смогут...»

Туманян писал также, что в Ереване создан Комитет помощи Армении<sup>1</sup> и что хорошо бы подобные комитеты создать повсеместно, где есть армянские беженцы, «они очень помогут примирению наших рассорившихся сторон и их мирному сотрудничеству. Да и партийные распри поприрутихнут.

Хорошо бы получить и твое содействие там, на месте. Страна разорена. И засуха, в свою очередь, сильно навредила. Но прилагаются большие усилия, чтобы все спасти и восстановить, и мы всячески должны помочь...»

И в конце письма: «...ждем тебя. Теперь наш «Верна-тун» соберем в нашей стране и проведем последние наши дни вместе. Каждый сможет наконец заняться своим де-

---

<sup>1</sup> Комитет помощи Армении был создан в сентябре 1921 года по инициативе Александра Мясникова. Целью этой организации было объединить рассеянных по всему свету армян вокруг Советской Армении и оказать ей материальную помощь. Первым председателем Комитета был Ованес Туманян.

лом. А достигнуть этого среди всех трудностей и лишений — уже очень много».

Туманян так и не дождался своего младшего друга. Исаакян приехал в Тифлис через три с половиной года после его смерти, в сентябре 1926 года.

Вместо великого человека, вмещавшего в себя тысячу жизней, меня встретил простой могильный холм и великое молчание...

Круг близких друзей поэта безжалостно сокращался. Весть о смерти Ваана Теряна застигла его еще раньше, в Женеве.

...Однажды в туманное, холодное мартовское утро 1920 года в Женеве я прочитал в одной константинопольской газете страшное известие... молодой Ваан Терян скончался в Оренбурге.

Сердце мое вздрогнуло, целые дни я проводил в глубокой печали.

\* \* \*

С весны 1921 по осень 1926 года Исаакян жил в Венеции. Более пяти лет.

На первый, поверхностный взгляд, что могло быть лучше: жить в одном из прекраснейших городов мира, имея материальное обеспечение, пусть очень скромное, имея квартиру на берегу одного из знаменитых венецианских каналов, пусть очень скромную? Но это только на первый, поверхностный взгляд. Быть может, мы так именно и судили бы о пяти годах, проведенных Исаакяном в Венеции, если бы не многочисленные его письма, с поразительной правдивостью раскрывающие глубину трагедии этой жизни. Письма эти — документы, являющие высокие образцы человеческой искренности, свидетельства беспредельной тоски по родине. Автору писем не приходило в голову, что письма его когда-нибудь станут, как это ока-

залось сейчас, уроками патриотизма для грядущих поколений. Письма написаны разным людям, по разным поводам, но всегда об одном.

И мы живем, если можно назвать жизнью — существовать и хандрить... Ах, когда же мы вернемся на родину, хоть на несколько дней — увидеть ее и умереть (1922, 22 мая).

...Исполнилось одиннадцать лет с того дня, как я покинул родину, где оставил дом и родную землю, семью и среду — полные жизни, веселья, благоустроенности... Провожая каждый год, я 10—15 дней переживаю мрачное душевное состояние (1922, 22 июля).

...Все мне опротивело — не пишу, не читаю, Венеция обратилась для меня в ад, скучаю безмерно... поехать бы, пожить хоть несколько дней и умереть в местах, где прошло наше детство (1923, 23 мая).

...Я обязательно должен вдохновиться реальной атмосферой Армении — увидеть пшеничные поля, наших овец, крестьян, ашугов, услышать наш чудесный язык, пройти пешком по пыльным дорогам от деревни к деревне... Мне кажется, я верю, что, приехав в Армению, я окрепну... мои силы удвоятся.

...Тоска душит меня, никуда меня не тянет — ни в Париж, ни в Берлин, ни в Каир, ты понимаешь это? Ничто не влечет, ни музыка, ни балет, только наши тар, свирель, зурна, пляски наших девушек... (1926, 25 января).

В этих письмах тоска по родине, достигающая болезненных размеров, н... жалобы на необеспеченность.

Литературного заработка нет, денег занять не у кого, и вообще — никакого просвета, никакой надежды. Кажется, и родственники в ближайшем будущем прекратят свои субсидии —

окажусь точно рыба, выброшенная из воды (1925, 25 марта).

Исаакян, привыкший к литературной среде, к дружескому окружению, чувствует себя в этом прекрасном городе как в безлюдной пустыне.

В Венеции я очень одинок, друзей нет. Город этот интересен, если жить в нем месяц-два, а для того, кто остался здесь надолго, — роскошное мраморное кладбище... Целыми днями ни с кем не разговариваю — мрачный, молчаливый, нервный, по ночам не сплю... Ничто меня не радует. Опротивело и чтение, и писание, и все прочее.

Мне нужен народ, нужны товарищи, живое дыхание и тепло, звуки зурны и бубна... сесть на лошадь, поскакать по зеленым берегам, поесть хлеба у ручья, пройти по пыльным старым дорогам родной страны, отдохнуть под стенами древних монастырей, слушать песни ашуга, беседы стариков, видеть пастухов, косарей... (1925, 17 ноября).

Мы часто считаем себя вправе упрекать Исаакяна в том, что он жил долго, а написал мало. Упрекаем его, не учитывая, каковы были прожитые им годы. В его жизни бывали такие тяжелые периоды, когда он не мог взять в руки перо. Муки творчества уступают место в душе поэта мукам духовного кризиса: «нет вдохновения — для кого писать?», «чужбина душит меня, иссушает душу».

Прежде чем упрекать, мы должны понять драму наших предшественников, обусловленную не только общенациональным бедствием, но и многими другими, крупными и мелкими китайскими обстоятельствами, той действительностью, которая предопределила им жить не так, как им бы хотелось, а как диктовали сложившиеся условия. А время и историческая судьба обусловили жизнь, которая заставила Туманяна возроптать:

Я жизнь свою не в светлый сад, а в площадь превратил.  
Ту площадь, кто хотел — топтал, цветов я не взрастил.  
Бесследно промелькнул мой век... О, как я виноват  
Пред тем, кто жизнь мне даровал,— мой невзраченный сад!

*(Перевод Н. Гребнева)*

Не тот же ли ропот мы слышим в одном из немногих  
четверостиший Исаакяна:

В чужой поток я попал — жизнь прошел,  
Чужие выполняя повеления — жизнь прошел.  
Очень хотел с своим сердцем согласно жить,  
Вместе с миром вверх тормашками жизнь прошел.

*(Перевод подстрочный)*

Эта жизнь, продиктованная вынужденными обстоятельствами, «чужими повелениями», трагической неосуществимостью желания с собственным «сердцем согласно жить», очень мало содействовала творчеству, тому делу, которое более других обусловлено психологическим состоянием, настроением. Тем не менее Исаакян писал. Он написал басни, которые составили целый цикл и которые не были случайными в его творческой биографии. И по форме, обнаруживающей глубокую связь с народным творчеством, и по содержанию — защита обездоленных и осуждение насилия — басни были проявлением сути исаакяновского творчества.

Если творчество есть отражение жизненного опыта автора, то ничто так не ранило, не печалило его душу, как насилие, величайшее из зол, жертвой которого были и он сам, и его народ, и ввергнутое в пучину первой мировой войны измученное человечество. Подобно другим великим мыслителям своего времени, Исаакян в поэме «Абул Ала Маарн», во всем своем творчестве разрабатывал тему осуждения насилия, внося свой вклад в духовную жизнь двадцатого века.

Соловей попал в лапы Волку и вместо волшебных звуков издает крики и вопли. Это удивляет и возмущает хозяина положения:

— Так вот, — воскликнул Волк, — как ты поешь! Хрипишь, гнусавишь, как шарманщик. Меж тем певцом прославленным слывешь... Да ты, брат, попросту обманщик!

Вспылил наш Соловей от этих слов  
И так ответил, позабыв о боли:  
— Да, я певец! Но я пою на воле,  
И песнь моя не для Волков!

*(«Волк и Соловей».)*  
*Перевод Эм. Александровой)*

Царь вступает в один из подвластных ему городов. Через другие ворота убегает какой-то человек. Его задерживают, подозревая в нем преступника. Оказывается — он невинный человек. Почему же он бежал? Он объясняет:

Пойми меня,  
Бесценный друг.  
Сила его — больше моей,  
Ум его — меньше моего,  
Ох, как бы чего не вышло,  
От царя  
Лучше быть подальше.

*(Перевод подстрочный)*

Кто такой царь? Самый главный среди угнетателей. На совет собираются растения: кого сделать царем? Оливковое дерево? Нет — «У меня есть дело, ведь я даю пищу своими плодами. Как могу я притеснять своей добротой?». Смоковницу? Ни в коем случае — «Как могу я угнетать своей сладостью?». Виноград? Но и он приносит радость своим золотым и прозрачным вином — «Нет, не мое дело быть царем». Наконец вынуждены обратиться к тернов-

нику. У него никаких возражений: «Буду царем. Мои острые шиши годятся для этого» («Притча»).

Когда в одной из басен священник поучал свой приход, что каждое живое существо должно славить бога, в толпе народа раздался наивный вопрос:

— Святой отец, прошу меня простить,  
Желал бы получить я разъясненья:  
Кто предназначен богом для съеденья,  
Хваленья тоже должен возносить?

*(«Вопрос». Перевод Эм. Александровой)*

Страшно человеческое общество, построенное на господстве сильного, на насилнии. Несчастный мышонок, недовольный своей жизнью, исполненный страхом перед преследующей его кошкой, просит бога, чтобы тот обратил его в кота. Так и сделал господь, но теперь несчастного охватил ужас перед собакой. Становится собакой — обуял страх перед львом. Обращается во льва — теперь уже мучает испуг перед человеком. Но замечает: люди тоже испытывают страх друг перед другом. И куда больше. Люди лютее зверей, более жадны и жестоки. «Так не лучше ли снова стать мышонком», — задумывается бедный мышонок («История одного мышонка»).

Исаакян-баснописец с иронией успокаивает несчастного бедняка, говоря, что у него тоже есть утешение. На богатый караван напали грабители: крики, плач, стоны, причитания. Между тем был в караване один путник.

Подостав мешок, он прилег, утомлен.  
Спокойно лег  
Без мук и тревог.  
То был бедняк. И думал он:  
«Хоть сила и деньги правят всем,  
Выходит так,  
Что все же на час изведать смог  
Покоя сладость и нищий-бедняк»

*(«Бедняк и караван».  
Перевод М. Столярова)*

О том же говорит и участь осла, который никак не соглашается на уговоры хозяина бежать, чтобы спастись от разбойников.

— Мне наплевать! Спешу ты сам,  
Мне все равно, быть здесь или там,—  
Таскать поклажу — жребий мой.  
Покой мне дорог. Не хочу  
Брести в жару, я изнурен! —  
Осел воскликнул, осмелев...

*(«Осел и крестьянин».  
Перевод А. Ахматовой)*

Сюжеты своих басен Исаакян брал из армянских средневековых сборников, конечно обрабатывая их в духе и стиле своего времени. Вот, например, басня «Вепрь и Лиса», взятая из книги «Сборники притч Вардана», изданной в Петербурге в 1899 году Н. Марром. Басня двадцатого века отличается от средневековой не только остротой содержания, но и иронией, тонкостью диалога, в котором вырисовываются характеры.

Вепрь усердно точит когти. В сборнике Лиса говорит: «Чего ты трудишься, ведь нет и намека на войну». И все. У Исаакяна же:

Признайся мне,  
Признайся мне,  
Мой храбрый брат, чего ты так хлопочешь?  
Никто не говорит ни о какой войне.  
Зачем же зря ты бивни точишь?

В притче у Вардана Айгекци Вепрь прерывает Лису: молчи, противная Лиса, ведь ты не сведуща в войне, оружие надо точить в свободное время. У Исаакяна этот ответ зазвучал иначе:

— Слывешь ты хитрою по праву —  
Ты заслужила эту славу,  
Но только твой умок, сестра,  
Не шире птичьего двора.

Обязан воин  
В срок  
В дни мирные оттачивать клинок.  
Тогда бывает он спокоен,  
Что отстоит страну.

Знай: ржавчина родит войну.  
А ежели народ заране меч отточит,  
С ним враг и драться не захочет.

*(Перевод С. Шервинского)*

Небольшое, казалось бы, изменение, но оно придает актуальное содержание басне и показывает, насколько чужда была Исаакяну пацифистская созерцательность, и говорит о том, что поэт, глубоко связанный с фольклорной традицией и с древней армянской литературой, коренным образом перерабатывал избранную тему.

Таким же путем обработана средневековая армянская басня «Сатана и его дочери».

У сатаны четыре дочери. Выдавая старшую замуж за князя, он сказал ей — будешь «Гордостью». Вторую дочь он выдал за купца и нарек ее — «Жадность». Третью, которую взял в жены поэт, назвал «Зависть».

А дочку младшую с горячей, пылкой кровью,  
Что ближе всех всегда была ему,  
Рогатый Сатана в сердцах назвал «Любовью»  
И отдал человечеству всему.

*(Перевод С. Михалкова)*

\* \* \*

Все творчество Исаакяна прочно связано с фольклором. Это относится и к его неоконченному роману «Мастер Каро» — большому художественному полотну, отражающему народный дух и психологию. Пожалуй, ничто в жизни Исаакяна не давало столько поводов для разговоров, сколько история создания романа «Мастер Каро».

Всех занимали вопросы: когда будет закончен? почему не закончен? когда увидит свет? Дело в том, что опубликованные отрывки романа давали яркое представление о своеобразном произведении большой формы, необычной для Исаакяна и армянской литературы, все более и более подогревая интерес к нему. А роман так и не был завершен. Причина лежала не в том, что автор ленился. Хотя сам он искренне признавался: «Целыми днями читаю и неделями не беру в руки перо — столько хороших книг, что порой задумываю больше не писать, но писатели — люди больные». Или еще: «...я вовсе не из тех усердных тружеников, для которых не существует ни дня, ни ночи...» И тем не менее ни одна работа не забирала у него столько сил, ни одна не причинила столько мук, сколько «Мастер Каро». В особенности в период жизни в Венции, когда этот роман был предметом сосредоточенных раздумий писателя, мучительных, противоречивых, отрицающих друг друга.

В 1922 году речь шла об уже завершенном, хотя и нуждающемся в доработке романе. Автор даже подсчитывал, каков будет его объем, занимался чуждыми ему арифметическими выкладками:

Хотя роман и завершен, но очень нуждается в обработке. В романе приблизительно миллион букв. Если издавать книгой большого формата, займет около 750—800 страниц, более мелкого — 1000 страниц...

Проходит год, — казалось бы, работа должна быть ближе к завершению, но...

Я очень недоволен собой, поэтому и не могу закончить «Мастер Каро».

Порой он воодушевляется, удовлетворенный тем, что у него получается.

Хороший роман получается, очень своеобразный, очень новый. Мне кажется — роман будет значительным явлением.

Иногда пытается охарактеризовать жанр своего произведения:

По форме — роман не роман, хроника не хроника, воспоминания не воспоминания, однако вещь, повествующая о нашей жизни начиная с 1912 года и до наших дней, до того дня, когда решат издать мою книгу.

Порой впадает в глубокое отчаяние:

Этот роман буквально наказание для меня — уже закончил было, снова изменяю...

Потом снова вдохновенная работа, которая поглощает «все время и внимание» писателя.

И снова неудовлетворенность.

Недоволен стилем его — не отработан, нудный... Он не стал воплощением моих мыслей, моего видения.

А в следующем, 1925 году снова вдохновенный труд.

...Ужасный «Мастер Каро» занимает около 1700—2000 страниц, однако эти 2000 из моих рукописных 5—6000 страниц — из этого моря хаоса я создаю главы. Ты не представляешь, какая это каторжная работа, но я воодушевлен, что предпринимаю невозможное, великое, огромное дело. Человек должен делать могучие дела, покорять непобедимые трудности, совершать подвиг в своей жизни...

В романе моем переплетены город и деревня, дашнаки, русская революция, турецко-армянская резня и истребление, выселение армян, большевизм и проч. и проч. Роман не исторический, а психологический, философский, и много в нем элементов — эпос, роман, лирика, юмор... Это океан, а не роман.

Чаренц изумился, пришел в восторг и сравнил с «Дон Кихотом», «Войной и миром»,

Гомером. Пожить бы еще года три и иметь на пропитание.

После того как были написаны эти строки, Исаакян, к счастью, прожил не три, а тридцать два года и не испытывал нужды в хлебе насущном, но роман его так и не был завершен.

В чем причина, вернее — причины, поскольку, с нашей точки зрения, их две.

Одна заключалась в следующем: для того чтобы в таком большом повествовании, как «Мастер Каро», связать воедино все сюжетные узлы, необходим был опыт романиста, которого у Исаакяна не было, — его таланту не было свойственно сюжетно-романное мышление. Отсюда те трудности, которые предстали перед автором, взявшимся в первый и в последний раз за создание эпического произведения, да еще какого — широкого, многопланового.

Вторая причина крылась в том, что работа над романом велась на протяжении многих лет, за эти годы взгляды Исаакяна на те или иные явления жизни менялись, огромный материал действительности, привлеченный им, не был пронизан единой мыслью.

Роман, как видно из его писем, охватывал первые десятилетия нашего века в жизни армянского народа, его национальную судьбу — с трагическими потрясениями, взлетами и падениями, с различной ролью, которую выполняли в них разные партии и общественные движения. Но они были настолько сложны и противоречивы, а мысль Исаакяна настолько живой и подвижной, что он затруднялся укрепиться на какой-то определенной позиции. Тем паче что времени прошло еще недостаточно, чтобы явления эти исторически выкристаллизовались. Что же касается осмысления и истолкования обстоятельств недавнего прошлого, то именно в работе над «Мастером Каро» и проявилось отсутствие у Исаакяна единого взгляда, отношения к изображаемому.

Мысль поэта, напряженно размышляющего над событиями недавнего прошлого, совершавшимися на его глазах, рождает разные, порой прямо противоположные толкования. Это ясно видно из писем, в которых он пишет о замысле «Мастера Каро». Мучительно раздумывая над трагической судьбой своего народа, поэт то оправдывает национальные движения, то осуждает, то сочувственно относится к националистическим деятелям, то непримирим к ним; симпатии его то на стороне одних, то на стороне других. Противоречивые поиски истины духовно богатой личностью, человеком, стоящим одной ногой в прошлом, другой — в новом, частью мыслей своих прочно привязанным к прошлому и находящим в нем много дорогого для себя, от чего невозможно отказаться, и не способного пока еще полностью принять новое,— все это с большой непосредственностью и искренностью отражено в его письмах. Его отношение к прошлому и настоящему еще не утвердилось, а это не могло способствовать кристаллизации романа в венецианский период его жизни. Последующие годы оказались для «Мастера Каро» тем более неблагоприятными, что они разрушили некоторые более представления автора и внесли такую сумятицу в концепцию романа, что окончание его оказалось невозможным.

«Мастер Каро» либо мог быть завершен в Венеции, либо вообще не мог быть завершен.

Случилось второе.

И тем не менее то, что осталось, даже только то, что уже опубликовано и знакомо читателю, дает основание это произведение Исаакяна считать одним из лучших.

На пути поисков национального стиля литературы «Мастер Каро» — одно из достижений Исаакяна. Известные фрагменты романа — «Мастер Каро и гюмрийские купцы», «Мастер Каро на празднике в Багране», «Капитан-гюмриец Казар», «Семейная жизнь капитана Казара» и др. — убеждают, что перед нами писатель, кото-

рый в совершенстве изучил характер своего народа, народа Ширакской низменности, и с тем же совершенством воспроизвел этот народный характер. Но здесь не обычное, пусть и совершенное, знание, и не обычное, пусть совершенное, мастерство. Это такое органичное знание народной жизни, быта, характера, души и психологии, которое недоступно человеку, даже вышедшему из гущи народа, а свойственно самому народу, исаакяновским героям-гюмрийцам. Мастерством этим нельзя овладеть путем обучения, посредством образования. Это искусство народного мастера-умельца, как, скажем, искусство резчиков по камню, которыми так славился Гюмри. Вот почему «Мастер Каро» — итог его вживания в народную жизнь и «примитивизированного» мастерства — не роман обычного типа, похожий на другие армянские романы, а народный роман-сказ, напоминающий такие очень немногочисленные в мировой литературе произведения, как «Тиль Уленшпигель», «Дон Кихот», «Кола Брюньон»...

В романе Исаакяна реалистическое повествование соседствует со стилизованным сказом, жизненные образы — с яркими гиперболами. Так, например, гюмриец капитан Казар Малхазов, которого можно назвать своеобразным армянским Мюнхгаузеном, рассказывает о героических поступках, совершенных им в молодости, в XIX веке, когда он участвовал в походах русского войска.

«Подымались мы с наместником на вершины гор, чтобы обнаружить место расположения врага. Сам он приставит подзорную трубу к глазам и смотрит. «Малхазов, — бывало, говорит мне, — я вижу вот на том склоне горы вооруженных людей, а ты что видишь?» А я подниму руку ко лбу, приставлю к глазам, посмотрю и скажу: «Ваше благородие, простите, вы ошибаетесь, то, что вам видится, — это отара овец».

И последнее слово всегда оставалось за мной.

Вот так и получилось, что сила моих глаз принесла нам победу, помогла выиграть войну».

Когда капитан Казар с победой возвращается с очередного военного наступления, наместник с умилением смотрит на одежду своего храброго разведчика. «Все на мне — папаха, черкеска, сапоги — в дырках. Заставил он меня все снять... Что сказать, 50, 100 свинцовых пуль рассыпалось по полу. «Боже праведный, столько пуль получил и еще жив! Свидетель бог — это чудо!»

Раскрыл мне грудь, видит — вся она посинела, пули сильно поцарапали, мясо и кости целы, а только посинели те места, которые пули заделали. Глядя на это, сердце его так смягчилось, что он обнял меня и поцеловал в лоб, приговаривая: «Капитан Казар, мой любимый капитан Казар...» Так мы стали капитаном...»

Романист со снисходительной улыбкой смотрит на бахвальство капитана Казара, как и прочих своих героев, когда они «переступают норму». Сам по себе роман уже был произведением не «нормативным» и, казалось, подчинялся беспорядочным случайностям, стихии народной жизни. Автор словно не касался пером, не вносил никаких коррективов в естественное поведение героев, в их произвольную речь, предоставив возможность им самим, без внешнего давления, проявить свой народный характер.

«Мастер Каро» — выражение в прозе того же художественного кредо, которому был верен Исаакян в своей поэзии. Это было кредо мастера, выразившего национальный стиль в национальных формах, кредо, которое он сам очень четко определил в одном из писем 1926 года к редактору армянского журнала «Гонг» Ованесу Авакяну:

Каждая нация должна иметь свой самобытный стиль — только народы, имеющие свой стиль, живут и неистребимы ни огнем, ни мечом. Стиль — это портрет народа (нации). Армянский народ, живущий под сенью Арарата, своей песней и архитектурой красно-

речиво показывает миру, что у него есть свое лицо, свое собственное, самобытное восприятие и осмысление мира...

Культура народа — высшее проявление его души.

Я впервые открыл глаза в мире, где все чисто армянское, в Шираке, где каждый уголок носит печать армянского. Ани и его окрестности, все сплошь армянское — песни, пляски, язык, сознание. Это страна, которая явилась местом встречи всех армянских провинций — рядом с выходцем из Муша ерзнкиец, рядом с выходцем из Вана карнециец, даже арапкирец. Почему же я должен был избегать местного колорита?

Вы пишете, что у меня беден лексический материал. Я действую в этом вопросе сознательно: по-моему, язык лирики должен быть очень ясен, прост, неприхотлив, без вычурности, первичен (лирика — ведь начало литературы) — только незатейливый язык сердца. Образцом для меня была народная песня нашего и других народов, и, с моей точки зрения, самая совершенная лирика — это народная песня. Все, что появилось потом, — ремесло, искусство, техника, манипуляция. В лучшем случае — риторика, красноречие.

Это — художественное кредо поэта, и «Мастер Каро» — его выражение (хотя, скажем в скобках, Исаакян создал шедевры также и в глубоко личной поэзии, как, например, в том же 1926 году написанное стихотворение «В Равенне»).

В венецианский период жизни Исаакян трудился над романом, писал мало стихов и множество писем, жил, прислушиваясь к бегу времени, вестями, приносимыми с

родины. Глубоко переживает он новые утраты. В одном из писем он скорбит о кончине Туманяна:

...лучезарная звезда, завоевавшая в веках уважение к армянскому гению,— он был очень любим, и место, занимаемое им, навсегда останется пустым...

Утрата Ованеса чем дальше, тем глубже действует на меня—это самый тяжелый вид горя.

В Венеции 23 января 1924 года на концерте прославленного скрипача Яна Кубелика он узнает о смерти Ленина.

...Нескончаемые аплодисменты сотрясали грандиозный зал. Спустя мгновение, когда Ян Кубелик должен был начать исполнение следующей вещи, на сцену вышел человек, медленно придвинулся к рампе, постоял молча минуту и затем, раздельно произнося слова, сказал:

«Телеграф сообщает из Москвы: умер Ленин».

И все...

Зрительный зал содрогнулся, затем наступило тяжелое, торжественное молчание...

Головы поникли—каждый отдался думам, каждый говорил со своим сердцем.

Так глубоко действует, потрясает смерть величайшего человека. Кубелик, который все это время стоял молча, опустив голову, взял смычок, положил на струны волшебной скрипки—внимание всех обратилось к нему—и потянул смычок—все с величайшим изумлением услышали, как струны издали скорбную весть: «Ленин э морто! (Ленин умер!)».

Впечатление непередаваемое—весь театр окаменел... Немного погодя с галереи и раз-

ных мест слышались стенания и смешанные со слезами голоса.

Продолжение концерта прошло очень холодно, воодушевление погасло, аплодисментов не было.

Когда я вышел и двинулся в густой толпе по улицам, мне показалось, что мир опустел, нет больше людей на земле...

Много написано о первом, непосредственном впечатлении от смерти великого вождя Октябрьской революции. Строки, принадлежащие Исаакяну, могут быть отнесены к числу лучших.

\* \* \*

В Венеции Исаакяна застала весть о смерти Александра Мясникова. Ни с одним из известных армянских коммунистов у Исаакяна не было такой душевной близости, как с Мясниковым, которого как литературного критика привлекало творчество Исаакяна. Мясников звал Исаакяна на родину, о чем писал ему Туманян и говорили Мартирос Сарьян и Чаренц, которые ездили к нему в Венецию.

Один из крупнейших руководящих деятелей Советской Армении, он много сделал для возвращения на родину выдающихся представителей армянской интеллигенции — архитектора Таманяна, композитора Спендиарова, художника Сарьяна. Получив известие о смерти коммуниста Мясникова, Исаакян пишет одному из его идейных противников:

Смерть Мясникяна причинила мне острую боль — он очень нужен был нашему злосчастному народу. Не сердись, он был хороший человек, я пережил его смерть, как смерть дорогого друга. Прошу, не говори о нем плохо. Много доброго для армян сделано его руками.

Не следует думать, что дни, прожитые Исаакяном, были полны только печали. Его радовали вести о возрождении родины, встречи с замечательными людьми, приезжавшими из Советской Армении, и с их искусством. Несколько из таких светлых дней он вспомнил позднее:

В один из мечтательных вечеров золотой венецианской осени я сидел в кафе на площади Св. Марка, обратив свой взгляд на отливающее золотом море и сказочный дворец дождей,— слушал городской оркестр Муниципалитета, который играл на пьацо.

...Вдруг слышу родные, дорогие сердцу звуки, пришедшие с родины. Сердце сильно забилося: что это — греза, сон? Откуда это?..

Сейчас же зову лакея, прошу пойти узнать, что за пьесу исполняют. Возвращается, объявляет: Спендиаров «Эскизы»...

После того я не раз слушал его музыку, особенно в Милане, где каждый день исполняли что-нибудь из его произведений.

В тот же период Исаакяну выпал еще один случай утолить тоску по родине с помощью искусства. На этот раз — живописи. В Венеции каждый год происходили международные художественные выставки, на одной из них поэт увидел картины Мартироса Сарьяна.

...В нетерпении спешил я от одной картины к другой, самозабвенно увлеченный, счастливый — перед моими глазами была поэтически воссозданная Армения, по которой я так истосковался.

В Венеции же поэт познакомился с самим художником. Позднее, уже в Ереване, между ними установилась близость, которая длилась всю их долгую жизнь. А пока проживающий в Ереване художник получает дружеские письма из далекой Венеции, письма, в которых были такие мысли:

...очень рад, что Франция признала Советы. Россия окрепнет и станет неприступной для врагов... Один красноармеец на границе Армении стоит 1000 Вильсонов и Лиги Наций, 1000 Макдональдов и Эрио — это безусловная истина.

1926 год стал знаменательным в жизни Исаакяна, в жизни Егише Чаренца и, следовательно, в истории армянской литературы.

В марте 1926 года почти месяц Исаакян и Чаренц провели вместе в Венеции. Это было первое знакомство и, одновременно, установление дружбы. Так случилось, потому что встретились характеры открытые, искренние. Один со своей снисходительностью, другой — с неистовой откровенностью, один с его мудрой созерцательностью, другой — с резкими убеждениями. Старший — со свойственной старшему снисходительностью, младший — со свойственной молодости и его характеру непримиримой убежденностью. Один — на стороне старого, исторического прошлого, другой — на стороне нового, за которым было будущее. Противоположные позиции, противоположные эстетические принципы, противоположные характеры. Вследствие этого один — нападающая, атакующая сторона, другой — обороняющаяся, защищающаяся. И, несмотря на все это, огромная близость, потому что оба были талантливы, были патриотами. Мысль обоих, их сознание, совесть были обеспокоены судьбами армянского народа и всего человечества.

Встреча выдающихся представителей армянской литературы не прошла бесследно. Исаакян писал в это время в одном из своих писем:

...очень недобрые, злые слова я услышал, но он показался мне хорошим парнем — у него участливое сердце, он расположен к дружбе... заносчив, избалован и нетерпим, однако бедняга очень нервен — просто больной человек.

Несомненно, с годами это все пройдет... Талантлив он, но футуристические его произведения я не смог полюбить — вероятно, я человек старого склада и не понимаю их.

А много лет спустя, в 1957 году, в год своей смерти, Исаакян снова вспомнил эту встречу — с глубоким уважением к личности и делу Чаренца, выразил восхищение его стихотворением, посвященным Армении («Я прикус солнца в языке Армении родной люблю»):

Для меня, скажу без преувеличения, с точки зрения патриотического чувства другого такого стихотворения, написанного армянскими буквами, армянскими словами, — нет. Это небывалая, уникальная вещь. Даже можно сказать, что во всей европейской литературе в жанре патриотического стихотворения нет другого, написанного с таким размахом, с такой глубиной, — во всяком случае, я такого не припоминаю.

Перед тем как высказать это, Исаакян вспоминает свою первую встречу с Чаренцем:

Он оставался в Венеции целый месяц, и мы очень и очень глубоко сблизились, подружились. Весь день мы были вместе. Рано утром он приходил из гостиницы и оставался у нас до позднего вечера. Гуляли по дивной Венеции — на гондолах по каналам, ходили к морю, потом в монастырь мхитаристов св. Лазаря.

Говорили без конца о науке, литературе, философии, революции, обо всех больших проблемах, какие существуют, а также о маленьких, которые беспокоят людей.

Впечатление Чаренца о той же встрече нашло воплощение в его художественном творчестве, в стихотворении «Элегия, написанная в Венеции». В ней запечатле-

ны характер Исаакяна и его раздумья тех дней, рассказано о том, как он бродил по улицам Венеции.

Мечтательной, неопределенной своей походкой,  
Не ослепленный великолепным блеском,  
Сказочной той красотой,  
Он баюкал одной песней старое  
Свое сердце, сердце, еще издающее трели.  
Там солнце нежным благоуханьем  
Слегка обрызгивало море,  
А он был болен старой печалью,  
Старой кручинной, жгущей сердце.

*(Перевод подстрочный)*

Как это ни странно, но можно понять, почему двадцатисемилетний Чаренц, певец революции и новой жизни, изобразил Исаакяна, которому не исполнилось еще пятидесяти, таким старым и немощным. «И блуждал он, сырый и старый, в городах многолюдных». «Прошлое было его старому сердцу дивным воспоминанием, будущее — ложью». Можно понять также, почему Чаренц, воспевавший шум и грохот рождающейся на развалинах прошлого новой жизни, трубивший о великих созидательных делах «неистовых толп», с иронией, порой снисходительной, порой ядовитой, относился к идиллическим мечтам Исаакяна.

Ему грезился Арпачай,  
Его далекий Гюмри —  
И то, что было прошлым воспоминаньем,  
Ему казалось утренней зарей.

.....  
И близко его душе было  
Только это старое. — О, он хотел  
Вернуться в свой далекий дом,  
Найти тот старый ручеек,  
Где звенели его песни,  
Мечтательные и печальные.

*(Перевод подстрочный)*

Можно понять Чаренца, «летающего на бронзовых крылах в красное грядущее», когда он иронизирует над пессимизмом Исаакяна, его приверженностью к воспоминаниям прошлого. Но вряд ли можно понять, почему он представляет Исаакяна убежденным противником новой жизни: «Наш героический труд казался ему тщетной мечтой». И уж совершенно неправ Чаренц в последних строках своей венецианской «Элегии...»:

И если приедешь ты в нашу страну  
И все таким же останешься,  
Наше новое солнце не будет лелеять  
Посмертно эти твои песни.  
Тебя примет тот старый мир,  
Который еще точат моль и плесень,  
Но это солнце зимнее  
Вряд ли согреет твое сердце.  
И останешься ты грустный и старый  
С той же зимой в холодной душе,  
И будешь сир и в отчаянии,  
Как в этой далекой Венеции.

*(Перевод подстрочный)*

Истории понадобилось немного времени, чтобы внести свои коррективы в эту оценку и утвердить жизнеспособность поэзии Исаакяна в новом мире. Еще в Венеции он прочитал «Элегию...» Чаренца и в одном из писем выразил свое неудовольствие с подобающим старшему великодушием: «...представил меня средоточием всего старого. Но много и очень талантливых мест».

Парадокс венецианской «Элегии...» очень мучил самого близкого друга Чаренца — Гургена Маари, который спустя много лет, когда уже не было в живых ни автора, ни героя элегии, в своих воспоминаниях, посвященных памяти Чаренца, выразил свои сомнения:

«Когда ты вернулся из Венеции, самой любимой темой твоих разговоров был Исаакян.

С большим воодушевлением ты рассказывал о ваших

встречах, с восторгом вспоминал его высказывания, пересказывал отрывки из «Мастера Каро»...

И вдруг написал свою «Элегию...»

Я до сих пор не понимаю, почему ты ее написал?..»

Но картина взаимоотношений Исаакяна — Чаренца будет неполной, если здесь поставить точку. Незадолго до своей трагической гибели Чаренц написал стихотворение:

### *АВЕТИКУ ИСААКЯНУ*

Чем длинней путь годов моих,  
Тем страстнее тебя я чту  
Тем смиренней к ногам кладу  
И любовь, и сердце, и стих.

Понапрасну в мечтах былых  
Песню так я сложить хотел,  
Чтоб ребенком напев овладел  
И в душе старика не стих.

Ты коснулся сердец людских,  
Стал великим, войдя в народ.  
И стихи твои он поет,  
Обретая бессмертье в них.

Ах, когда бы из слов простых  
Песнь такую создать и мне,  
Чтобы в хижине на стене  
Написать для внуков своих,

Чтоб читать ее млад и стар  
Вечно шли к моему жилью, —  
Эту лучшую песнь свою  
Я тебе преподнес бы в дар.

*(Перевод А. Сендыка)*

Это стихотворение — спор с самим собой, признание собственной неправоты, несправедливости, совершенной многие годы назад. В нем сказалось величие Чаренца.

Но мы зашли слишком далеко вперед. Вернемся в 1926 год. Сердце поэта, принявшего решение вернуться на родину, переполнено радостными волнениями. Он пишет проживающему в Москве другу — Карену Микаэлян:

Очень соскучился по армянскому народу, по товарищам и нашим пшеничным полям. Не знаю, смогу ли я там жить — я не коммунист, но симпатизирую им — армянских большевиков — линии поведения и верю в будущее нашей страны, в природную мудрость нашего народа, его здоровое начало.

Как будто невидимая рука погасила «врожденный пессимизм» поэта, рассеяла мрак его души и наполнила ее пламенным восторгом. Он пишет в Нью-Йорк редактору газеты «Армянский гонг»:

Если удастся, в первых числах сентября буду в Ереване — какие переживания, волнения ждут меня... Чувствую себя молодым, точно крылья выросли за плечами... увидеть родную, бесценную землю, услышать армянскую речь, звон крестьянской косы, блянье отары... Есть хлеб, испеченный в тондире, и пить арагатское вино. Есть ли что-нибудь выше и значительнее этих вещей? Нет ничего! ничего!

Но к радости возвращения домой примешивается много яда, который омрачает настроение поэта. Дашнакские деятели, дашнакская печать подняли большой шум в связи с его возвращением на родину, сыпали угрозами, стремились опорочить, скомпрометировать поэта.

Да, много плутал Исаакян до 1926 года, прошел долгий, сложный, извилистый путь. Честный и прямодушный, он никогда не скрывал ни своих мыслей, ни зигзаги пройденного им жизненного пути. В 1937 году в Ереване в одном из своих выступлений он сказал:

Я был толстовцем, ницшеанцем, студентом в Германии — социал-демократом. Отчаявшись, стал анархистом, пессимистом. Увлёкся Буддой. Воодушевлялся воинствующим армянским национализмом, был дашнакским деятелем — работал самозабвенно, сидел в тюрьмах, был выслан, бежал, покинув родину.

Письма его последних пяти лет жизни в Венеции полны противоречивых, отрицающих друг друга мыслей и суждений и за и против новых порядков, созданных на родине, которых он пока еще не понимает; он высказывает и оптимистический и пессимистический взгляд на будущее народа. Но среди всех этих противоречивых раздумий было одно непоколебимое убеждение — судьба армянского народа неотделима от судьбы русского народа. Вспомним: «По-моему, Армения и армянский народ могут существовать только с Россией или совсем не могут существовать», «...нам нужна сильная Россия», «присутствие русского солдата на границе — вот что спасет нас».



Да, Исаакян прошел сложный и извилистый путь. И нам, потомкам, дороже и поучительнее всего именно то, что через все водороты и чистилища он достиг великой истины. Убеждение тем дороже, чем большими жертвами и муками оно добыто.

Та великая истина, к которой приник Исаакян преданно и бесповоротно, была добыта тяжелым жизненным опытом и тем особенно дорога была и ему, и нам, его потомкам. Вот почему он так возмущался дашнакскими деятелями, поднявшими шумиху вокруг его возвращения на родину.

В начале октября 1926 года он приехал парохомом

из Венеции через Константинополь в Батум. Оттуда после пятнадцатилетнего отсутствия он попадает в Тбилиси. Мало кто из прежних друзей оставался здесь — многих уже не было в живых, другие переехали в Ереван. На вокзале его встретили артист Исаак Алиханян, композитор Романос Меликян и другие. В Тбилиси поэт посетил места, с которыми были связаны дорогие ему воспоминания, могилы ушедших друзей. Затем переполненный грустными и радостными переживаниями, через Дилижан и Севан, поэт достиг наконец столицы Советской Армении.

Ереван очень изменился, многолюдный, живой, шумный. Без конца ломают и строят, большой размах работ. Удивительный народ армяне — жизнеспособный; плачет, но заново строит и создает, из камня хлеб добывает.

Излишне говорить обо мне. Всюду принимают с распростертыми объятиями.

Во главе государства — умные, избранные молодые люди (около 40 лет), работающие, энергичные, горячие, развитые. Армения — страна трудовая, деловая.

Хотелось бы быть молодым — окунуться в это море черной, тяжелой работы.

Ничто не могло омрачить поэту радость встречи с родной, не могло погасить его воодушевления. Ни невозвратимые потери родственников и друзей, ни гибель отцовского дома и мельницы, ни трудности хозяйственного строительства в восстающей из пепла и руин республике, ни страшное землетрясение, которое разрушило до основания родной город. Для восстановления Лениканана Советское правительство решило выделить 16 миллионов рублей.

Пусть об этом услышит весь мир и узнает, какой великий и истинный друг есть у армянского народа.

На родине я окружен почетом — руководители республики любят и уважают меня, я не могу порвать эти связи. Кроме того, день ото дня я привязываюсь сердцем к стране и советским порядкам, я вижу, что только здесь, в Армении, могу чувствовать себя счастливым и удовлетворенным.

Сколько сомнений рассеяла обновленная родина, сколько подозрений и недоумений, рожденных годами жизни за границей.

Отныне никаких сомнений, что «настоящее положение, после бедствий, обрушившихся на головы армян, это благодать, счастье, которое нужно защищать и не дать ему погибнуть». Так пишет поэт в письмах за границу, убежденный, что без новой родины «мы, армяне, стали бы погибшей, исчезнувшей нацией».

Уж кто-кто, а Исаакян, много наблюдавший, переживший, перечувствовавший, передумавший на протяжении пятнадцати лет изгнанничества, хорошо знал, что такое трагедия жизни вне родины. И его охладевшее на чужбине от бесчисленных горестей сердце отогревается в отчем краю. В том же 1926 году, наблюдая возрождение родного народа, он пишет статью, вернее, гимн, проникнутый таким безудержным восторгом, какой трудно было ожидать от автора «Песен и ран».

Я пока еще только новый гражданин нашей древней отчизны, воскресшей новой Армении.

...Я весь обратился в слух и смиренно и внимательно слушал каждого, кто хотел говорить со мной. Я услышал от очевидцев обо всех горестях, перенесенных нашим народом, начиная с расколовшей весь мир войны и до конца гражданской войны, до установления советских порядков... Я стал оком и внимательно всматривался вокруг. Поднявшись над

мелочными наблюдениями, я с высоты оглядываю все — близь и даль. И вижу: из развалин и пепла под сенью мира встает трудящаяся Советская Армения — с ее общечеловеческим содержанием и национальным стилем и обликом.

...Беспрепятственно звучит наш родной язык в школах и судах, учреждениях и казармах, клубах и базарах.

Вижу черноглазую детвору с книгами под мышкой — жужжат как пчелы в улье. Молодежь, споря и смеясь, спешит в университет... Вижу воинов Красной Армии, проходящую с зажигательными песнями армянскую конницу. Грохочут улицы под копытами.

Грохочет и сердце вместе с ними.

И хочется идти вместе со всеми: с черноглазой детворой, с рабочими и крестьянами, с воинами.

Идти туда, куда идут они, душой и сердцем идти с ними до конца.

И благословляешь их, тех, кто трудится, потому что они — воплощение воли, а это и есть то, что создает великие народы.

Блаженны те, кто бьют мощным молотом по наковальне.

Блаженны те, кто пашут землю и сеют пшеницу. Блаженны те, кто точат камни и строят дома, блаженны те, кто сажают деревья и роют каналы.

И блаженны те, кто учатся и учат. Потому что они создают нашу материальную и духовную пищу.

Потому что они творят для всех справедливое отечество.

Потому что они — наше настоящее и будущее.

Потому что они оттачивают наше оружие — чтобы покорить силы природы и победить хищного зверя, который живет в нас.

Длинная, как борозда, тянется мужественная оровел<sup>1</sup>, и пьешь горячее дыхание потрескавшейся земли.

И хочется обнять, охватить, сколько возможно, руками эту священную — черную и светлую — землю и придающих ей идею и смысл тружеников. Прижать к груди и целовать эту разорвавшую цепи свободную землю, которая стала твоей отныне и навсегда.

Чувствуешь неисцелимую боль оттого, что был вдали от них, что зря прошли годы изгнания.

И сейчас одно желание томит твою душу — положить голову на эту землю, закрыть глаза и мечтать...

Такой восторженный гимн непривычен в устах певца скорби и печали. Он опровергает строки, обращенные к армянскому народу семнадцать лет назад: «О армянский народ, горько оплакиваю печальную участь твою — источник мук и страданий моих! Кто даст мне моря слез, чтобы оплакать кровь и разорение твоей страны?»

Это — опровержение историей, отраженное в душе и творчестве поэта. Восторг поэтической души при виде возрождения отчизны был столь же силен, сколь глубока была скорбь при виде ее гибели. Только великие души способны предаваться беспредельной скорби и безграничному восторгу. Такой великой душой обладал Аветик Исаакян.

Но душа жаждала и простой человеческой близости.

---

<sup>1</sup> Оровел — песня пахаря. — Прим. переводчика.

И жажда эта тоже нашла удовлетворение. Поэт встретил на родине старых друзей и обрел новых, жизнь его была согрета дружбой, потребность в которой он с такой остротой ощущал на чужбине.

Исаакян часто виделся с Иоаннесом Иоаннисяном, у которого когда-то брал первые уроки поэтического мастерства.

Годы не прошли для него бесследно, он заметно постарел, не было в нем прежней резвости. Он пользовался почетом, государство назначило ему пенсию и предоставило в его пользование сад. Очень часто я бывал у него дома и в саду... 1928 год мы встретили у него в доме. Было довольно много гостей... Незабываемые, прекрасные часы провели мы — собравшись вокруг старейшины нашей поэзии, мы пели, плясали, веселились до рассвета.

В том же 1928 году летом поэт был в Кисловодске. Он ничего не написал об этом, но о его пребывании в Кисловодске оставил свои воспоминания Корней Иванович Чуковский:

«В 1928 году в моей жизни произошло большое событие: я познакомился с великим армянским поэтом Аветиком Исаакяном. Он отдыхал тогда в санатории «Цекубу» в Кисловодске. Немного сутулый, без всяких претензий на поэтический облик, словно удрученный какой-то неотступной печалью, он явно старался ничем не выделяться среди обширной толпы отдыхающих. Было в нем что-то простонародное в высоком значении этого слова, живо напоминавшее мне типичных армянских крестьян, и в то же время утонченное, одухотворенное.

...В санатории «Цекубу» был обычай устраивать литературные вечера. На одном из таких вечеров я в присутствии всех отдыхающих, среди которых был и Аветик Исаакян, прочитал его стихотворение, которое знал наизусть.

Запеваает кузнечик в кровавых полях,  
И, в объятых предсмертного сна,  
Видит павший гайдук, видит в сонных мечтах,  
Что свободна родная страна...

Аветик Исаакян сидел в третьем или четвертом ряду и, услышав, что я читаю его стихи, закрыл лицо руками и в ответ на рукоплескания собравшихся чуть-чуть приподнялся на своем месте и угловато-застенчиво поклонился...»

Из старых своих друзей Исаакян встретил на родине и Тороса Торамаяна, к работе которого в области архитектуры относился с глубоким уважением и благоволением.

Время сделало свое жестокое дело — он постарел, очень потучнел, сердце сдало, но настроение у него бодрое — такой же оптимист, такой же стойкий, симпатичный, простосердечный.

Он уже приступил к своей грандиозной работе «Материалы армянской архитектуры», ради которой мучился, страдал всю жизнь. Ужас охватил меня, когда я взглянул на эту огромную кипу бумаг, рисунков, чертежей, но он с любовью, охотой, терпением изо дня в день приводил в порядок этот хаос и в то же время находил возможность участвовать в новых раскопках и накапливать новые материалы.

К наслаждению от общения со старыми друзьями прибавляется радость обретения новых. В маленьком тогда Ереване жило много талантливых и замечательных людей. Исаакян пополнил их число, привнеся своим присутствием новые черты в облик возрождающейся столицы Армении.

Исаакяну, человеку в высшей степени общительному и непосредственному, потребовалось немного времени, чтобы близко сойтись с двумя крупнейшими деятелями армянской культуры — композитором Александром Спен-

диаровым и архитектором Таманяном. И для них эта встреча с европейски образованным поэтом, который отличался широкими познаниями во всех областях искусства и превосходно знал также историю и культуру своей страны, была знаменательной. Впечатления от их общения и встреч запечатлены в воспоминаниях Исаакяна:

С великим композитором я познакомился лично, когда только что вернулся из-за границы. Мое впечатление при первой встрече с этим высокоталантливым человеком было таково: он не земной человек. Его ноги едва касались земли, его душа — своими помыслами и мечтами обитала в высоких сферах. Этот замкнутый в себе, хрупкий человек слышал звуки, которые нам недоступны.

Многие писали о Спендиарове, но никто не сумел так, в нескольких строках, выразить суть его характера, как это сделал Исаакян. Выявить самые существенные свойства человеческого характера — вот принцип Исаакяна-мемуариста.

Достоверность, внимание к фактам отличают мемуары Исаакяна. Вместе с тем ему удается раскрыть сущность образа не объективным описанием, а опираясь на собственное субъективное восприятие. Это свойство лирического поэта стало неотъемлемой чертой и его прозы, в том числе и воспоминаний, которые можно отнести к ее лучшим страницам. Очень показательно, что полученные и воспроизведенные поэтом впечатления, кого бы они ни касались, совершенно соответствуют объективной сущности созданного портрета. Это придает особенную ценность исаакяновским воспоминаниям — как историческим документам. Перед нами возникают прошедшие через жизнь поэта выдающиеся люди в высокие минуты своего вдохновения.

Воспоминания пишутся по-разному. Пишутся иногда и в такой манере, которая представлялась Исаакяну очень

непривлекательной: «Писать воспоминания значит встать на скользкий путь — начинают скромно, а заканчивают самовосхвалением». Армянская мемуарная литература достаточно богата. Вместе с тем ни один мемуарист не вырисовывается в своих воспоминаниях столь явственно, как Исаакян. Настолько, что мемуары его оставляют впечатление дневника, запечатлевшего страницы его жизни. И при этом — никакого выпячивания собственной личности и своей творческой работы. Это не было намеренным стремлением избежать, как он назвал, «скользкого пути», здесь проявилась свойственная его характеру природная скромность.

Есть еще одна особенность у исаакяновских воспоминаний, которая отличает их от обычных мемуаров, — это сконденсированная в них и объединяющая их идея патриотизма. Она развивается столь последовательно, что воспринимается как осуществление заранее намеченной программы.

Но ни в какой программе невозможно было предусмотреть эту железную последовательность — где-нибудь обнаружилось бы какое-нибудь отклонение. Здесь же, по существу, — непронзвольное проявление его характера, его мирозерцания. Исаакян оценивал человека всегда только «со своей колокольни» — с точки зрения патриотизма. Конечно, это не единственный угол зрения, были и другие аспекты, в которых рассматривался им человек, но все они подчинялись им главному. Таков поэт по своей природе, жизни, творчеству.

Если на миг поверить в высшую мудрость предначертаний судьбы, то судьба Исаакяна как будто нарочно забросила его в далекие чужеземные края, чтобы в голосе его всегда звучала тоска по родине, о чем бы он ни писал. Это была его *idée fixe*, или, как говорил Чаренц, «сердечная болезнь», «мозговая боль», без каких-либо признаков национальной ограниченности. Потому в какие бы времена и о каких бы разных людях ни писал поэт — об

Алишане или Агаяне, Теряне или Тамаяне, итальянце Джиовани или грузине Валишвили и о многих других, — она, эта *idée fixe*, становилась краеугольным камнем его созданий, ибо была основой основ его собственного характера, его творчества.

Мемуары Исаакяна — это не только портреты тех или иных выдающихся людей, правдивые и достоверные, но и уроки патриотизма, вдохновенные и поучительные.

Следует отметить, что воспоминания о товарищах и собратях по искусству — это одновременно и документы его жизни. Документы, учитывая превосходную память поэта, очень точные и, зная его в высшей степени эмоциональный характер, очень одухотворенные. Можно сказать: Исаакян, изображая чужие жизни, поведал и о собственной.

Если бы не воспоминания, многое в жизни поэта осталось тайной для нас. Например, то, что три-четыре года (точнее — 3 года 7 месяцев), прожитые им в Ереване до отъезда в Париж, он провел в теплой и душевной атмосфере, в атмосфере товарищества и интенсивной духовной жизни, которая всегда была ему так дорога. Люди, среди которых он прожил эти годы, — Иоаннес Иоаннисян, Торамаян, Спендиаров, Тамаян, Романос Меликян, Мартирос Сарьян, Стефан Зорьян — напомнили ему встречи в туманяновском «Вернатуне».

Исаакян много писал о том, какое впечатление произвели на него Ереван и его люди в 1926—1930 годы. Другой первоклассный писатель и мемуарист — Стефан Зорьян — в свою очередь рассказал о том, какое впечатление оставил Исаакян в Ереване. Он дал такой точный портрет Исаакяна того времени, что стоит, хотя бы частично, привести его здесь. «Как он изменился за 16—17 лет... Прежде тонкий, худой поэт пополнел, округлился, плечи его опустились, хотя ему только что исполнилось пятьдесят. Не было прежней черной поэтической бороды, не было мечтательного взгляда крупных глаз — теперь на

подбородке малюсенькая бородка, а глаза окружены сетью морщин. Эти глаза... хотя они по-прежнему смешливы и пронзительны, нет в них уже прежней мечтательной нежности. Они теперь — вдумчивые и умные, излучающие мудрость... А движения поэта тяжелые и медлительные...»

Стефан Зорьян вспоминает теплые встречи ереванцев и прочувствованное до слез отношение к ним поэта: «...везде, в городах ли, в деревнях, его принимали горячо, с братской любовью — приглашения следовали одно за другим. Он сам в кругу старых и новых знакомых часто бывал растроган до слез оттого, что находится на родине, в окружении близких... Он знал страну и людей много лучше, чем жившие в Ереване писатели, так как он до отъезда за границу объездил почти все деревни, все уголки Армении, и везде у него были знакомые, друзья, почитатели... Будучи человеком очень чувствительным, он, при виде любимых мест или просто встречая знакомых, часто умилялся до слез, вспоминая какие-то случаи и разговоры...»

Исполненные волнений три-четыре года пролетели как один день. Богатые, наполненные впечатлениями годы — в гуще новой жизни, в близости со старыми и новыми друзьями. Пожалуй, это был самый счастливый период его жизни, после детства и юности.

Наступило время снова отправиться за границу — весна 1930 года. Нужно было поехать в Париж за семьей и своими рукописями. С грустью простился с друзьями. Как будто предчувствовал, что многих видит в последний раз. Незадолго перед этим проводили в последний путь Иоаннеса Иоаннисиана и Александра Спендиарова. Когда Исаакян вернулся из-за границы окончательно, он уже не застал в живых Тораманяна и Таманяна. Не дождался его Романос Меликян, который, провожая поэта, на вокзале сказал ему: «Долго не задерживайся, мы ждем тебя».

Исаакян долго оставался за границей, во всяком случае дольше, чем предполагал. До отъезда за границу, в 1929 году, он писал жене:

Мое пребывание за границей будет временным — около года, я снова вернусь в Армению и устроюсь здесь. Вне родины нет жизни и счастья.

Но... человек предполагает, а судьба располагает. В Париже на Исаакяна обрушилась уйма дел, общественных дел. Он становится заместителем председателя Комитета помощи Армении (КПА). А это означало руководить им и участвовать во множестве собраний, организовывать общественное мнение армянских беженцев в пользу Советской Армении, изыскивать средства для отправки на родину, поднимающуюся из руин и пепла. Исаакян становится общественным деятелем, который борется с изгнанными из отчизны врагами, с враждебными силами, составившими против установленных на его родине новых порядков. Он, как писатель, только что вернувшийся из Советской Армении и воодушевленный ее подъемом, должен был рассеять сомнения и подозрения армянских беженцев, привлечь их на сторону нового отечества, всего того, что так вдохновило его самого в социалистической Армении. Это очень важно подчеркнуть, потому что он теперь нес идею не родины вообще, а — социалистической родины. Писатель, проживший несколько лет в стране социализма, выражал идею социализма и социалистической революции не только в публицистике, но и в художественном творчестве. Наиболее яркий пример — большой рассказ «У них есть знамя», написанный в Париже в 1932 году.

Этот рассказ занимает особое место в творчестве Исаакяна своим подчеркнуто политическим характером. Это не излюбленная Исаакяном поэтическая проза — с алле-

гориями и символическими обобщениями, а проза, несущая политический заряд, с пристальным вниманием к протекающей на его глазах жизни. Это жизнь людей, находящихся в ужасной нищете. С неожиданными для него мелкими подробностями, почти физиологическими деталями писатель изображает обездоленных, влачащих — нет, не жизнь, а существование в великолепном Париже. Они на свалках «...подбирают все, — все идет им в пищу, даже то, что не станут есть свиньи». Люди, которые не живут, а осуждены на жизнь. «Загадки четвертого измерения и шестого чувства, занимающие мысли сытых, для них давно уже решены — ведь они всегда живут вне пространства и вне всяких чувствований».

Один из них — герой рассказа Аршак, бежавший от резни и волей судьбы заброшенный в Париж. Он прибыл сюда, чтобы увеличить собой число парижского люмпен-пролетариата. Он из тех парижских бродяг, которые, без различия национальностей, «тянутся друг к другу — как во время опасности животные и птицы сбиваются в кучу».

У бродяг свой идеолог Шарль Брей, бывший журналист, а теперь деклассированный элемент, который говорит о Сене: «Ее название не Сена. Это Лета — река забвения», она уносит с собой все лишения, пороки, преступления. Шарль Брей покровительствует Аршаку как жертве жестокости и насилия. Аршак с увлечением слушает его горькие размышления и призывы к социальной мести. «Да, свести счеты с капиталистами, с буржуазией — значит уничтожить это прогнившее общество полностью, как это сделали русские». Нужно свергнуть бесчеловечное господство сильных мира сего, которое представляет все права хозяевам, а бедняк не имеет даже родины — «богатые ее отняли».

Но у Шарля есть оппонент — Анатолий, который сидел в тюрьме вместе с политическими заключенными («...Окончил университет тюрьмы Сантэ. Сорбонна ничего не стоит по сравнению с дипломом Сантэ», — пропо-

ведует Шарль). Подлинную революционную правду, правду «Коммунистического манифеста» Маркса и Энгельса, приносит им Анатолий. Ему принадлежат слова, которые дали название рассказу — «У них есть знамя».

«— ...Мы люмпен-пролетариат — ничто, — объясняет Анатолий. — Сила у пролетариев. Они организованны... У них есть знамя, единое для всех, — знамя социализма. Под этим знаменем объединяются миллионы рабочих во всем мире. Будущее принадлежит им, победа будет за ними». По убеждению Анатолия, сила в тех, кто способен превратить в реальность лозунг: «Свобода, равенство, братство», который можно прочесть всюду, даже на здании тюрьмы, и осуществление которого невозможно увидеть в действительности нигде. Сила в тех, чья победа «освобождает все народы от нищеты и беспорядка, навсегда уничтожит войны...».

Исаакянский герой не сразу становится на сторону Анатолия. Однако он сознает, что у люмпен-пролетариев нет перспектив. Какие бы красивые слова ни говорил Шарль о том, что никогда не станет рабом наживы, а будет жить вне каких бы то ни было законов, никогда не станет «ни буржуа, эксплуатирующим других, ни пролетарием, работающим на других», сколько бы ни восхвалял поэзию «бездомного бродяжничества», Аршак понимает — правда истории не с ним, а на стороне Анатолия. И в финале рассказа в безмолвии ночи Аршаку грезится, что он «тянется обеими руками к знамени пролетариата».

В Париже Исаакян написал также рассказ о жизни русской эмиграции — «Сон ротмистра Павловича». Хозяева старой России потеряли все, кроме слепой ненависти к новой России. Они опустились на самое дно жизни и способны на все ради сохранения собственного бесславно-го существования. Ротмистр Павлович с презрением говорит о своих соотечественниках-эмигрантах: «Нужда обесчеловечила всех, превратила в скотов. Никто уже не способен воодушевляться идеями, куда уж умирать за них».

Бывший офицер царской армии приверженец старой России, и не капиталистической, а патриархальной, «ситцевой» России помещиков и мужиков, он возмущается, что большевики меняют облик старой Руси, делают ее мощной промышленной страной — «а я ненавижу этот противный американизм и преклонение перед машинами».

Когда Павлович пьян, он предается тщетным иллюзиям, мечтает повернуть колесо истории вспять, но в минуты трезвости способен взглянуть в глаза беспощадной правде:

«Рыцарство наших офицеров, их самоотверженность отныне принадлежат истории. Теперь все они стали бакалейщиками, маклерами, лакеями, нулями. Я тебе говорю: через 50 лет от нас, беглых русских, рассеянных по всему миру, останутся только могилы, ничего больше. Могилы...»

Убежденный враг новой России, ротмистр Павлович — человек думающий и понимающий, благодаря чему идея рассказа — невозможность повернуть движение истории вспять и обреченность эмиграции — звучит особенно убедительно и достоверно.

Будучи в Париже, Исаакян не только своими произведениями, но и всей своей деятельностью выступал в защиту Советской России и Советской Армении против белой эмиграции. Он писал в Ереван старому другу Гарегину Левоняну, что нужно защищать Советскую Армению «от враждебных нападков. Здесь много работы, предстоит большая борьба...».

Париж, с его великолепием, искусством, красотой, соблазнами, с его кипучей жизнью, не только не рассеивает озабоченности новоявленного парижанина, но, наоборот, углубляет ее. Он знал французский язык, умел понимать и ценить сокровища французского искусства былых и новых времен. Но все это не могло вытеснить в его душе думы о родине.

...У меня одно желание, я хочу только одного — объединиться в каком-нибудь отдаленном

уголке мира, чтобы не видеть страданий армян, не слышать их голосов, но они дотянутся и туда — ведь они во мне. Куда я убегу от себя?

Поэт жалуется, что не может работать над своими произведениями. Нет времени, возможности, настроения.

Вроде бы ничего особенного не делаешь, но и от дел времени не остается. Большой город поглощает. Столько интересного, что голову теряешь.

...Очень хочу писать, но все что-то мешает. Прожить бы столько, чтобы завершить начатое, вернуться в Ереван и потом сомкнуть глаза. Старость уже настигает нас...

Это характерное для поэта настроение — постоянный страх перед представляющейся ему очень близкой старостью, небытием, смертью... И сердце тянет его в родные края. «Париж хорош, но родина самое лучшее место. Наилучшее...» — пишет он в Ереван Гарегину Левоняну, а в письме к Карену Микаэлян у объясняет причины, почему он задержался в Париже:

...Я тоже хочу быть в Ереване, с друзьями, с народом, но множество разнообразных дел задерживает меня здесь — выходит, я здесь необходимый человек, а мое страстное желание — иметь тихий уголок и писать, завершить мои незаконченные литературные работы.

...Решил в этом году уединиться в какой-нибудь деревне, завершить работу, а затем вернуться в Армению. Дела КПА (газета, собрания, разнообразные обязательства) поглощают все дни и всю мою энергию.

В многочисленных письмах Исаакян редко касается собственного творчества, еще реже публикаций своих произведений и почти никогда не дает им оценки. Только один раз, когда в 1934 году в Москве было задумано переиздание книги «Поэзия Армении», он выразил пожела-

ние: «очень хотел бы из нового поместить стихотворение... под названием «В Равенне».

Почему из десятков новых (написанных после 1916 года) стихотворений он выбрал именно это? В этом выборе, со свойственной ему скромностью, поэт выразил глубокое и ясное понимание собственного творчества. Он знал, что предлагает широкому читателю, и читателю не только армянскому. Маленькое это стихотворение, написанное в 1926 году, в самом деле представляет собой шедевр поэтического искусства — по силе обобщающей мысли, по исключительной глубине философского осмысления жизни вселенной и исключительной простоте выражения.

Замысел стихотворения возник в 1926 году в Равенне. В той самой Равенне, которую Александр Блок, посетив ее проездом в 1909 году, назвал «глухой провинцией». Былая столица некогда мощной Западной Римской империи со временем, под воздействием разрушительных стихий, утратила свое величие и сохраняла значение только как музейная ценность.

Утратившая свое прошлое величие, но сохранившая в развалинах следы былой славы, Равенна породила в воображении поэта идею противоречия между вечностью вселенной и преходящностью человеческого существования, сконденсированную в нескольких строках в блестящий поэтический образ:

На глухой вершине Арарата  
На мгновенье век остановился —  
И ушел...

Острый меч сверкающей зарницы  
Об алмазы яркие разбился —  
И ушел...

Взор гонимых смертью поколений  
Соскользнул по гребню исполина —  
И ушел...

Наступил черед твой на мгновенье,  
Чтоб и ты взглянул на ту вершину,—  
И ушел...

*(Перевод М. Павловой)*

Вечная природа и конечность человеческого бытия — вот трагическое содержание жизни. Что человеческий век, сто лет в сравнении с вечностью Арабата? Мгновение, миг. Трагическое содержание поэт выражает спокойно и умиротворенно, как древние греки,— с грустной улыбкой. Критик Сурен Гайсарьян, которому принадлежит тонкий анализ этого стихотворения, прав, когда пишет: «Здесь нет ни печали, ни сожаления — просто отмечается естественный процесс жизни, смены поколений».

«В Равенне» — мощный взлет поэтического воображения. Стихотворение это стоит особняком в поэзии Исаакяна и относится к числу лучших созданий не только в его творчестве, но и во всей армянской поэзии.

Заметим, что в стихотворении нет ни одного намека на Равенну. Равенна только дала толчок, направление фантазии поэта. И, как всегда, увиденное и пережитое в чужой стране в его воображении ассоциируется с отчим краем. Древняя итальянская Равенна и... армянский Арабат. Точно так же, разглядывая редкий памятник французского средневековья, он видел перед собой памятник армянского средневековья: «Очарованный смотрю я на храм, — и вижу наш Ереруйк на поле Ширака, одинокий, пустынный, поникший под гнетом веков и врагов, но вечный и прекрасный».

Я плохо представляю, что делается в Ереване: продвигается ли строительство театра Таманяна, железной дороги в Акстафу, резинового завода? С бесконечной сердечной болью читаю о безумном плане спустить воды Севана. Стоит ли ради нескольких десятков ты-

сяч гектаров земли или получения лишней электрической энергии осушать водный резервуар Армении?.. Очень волнуют меня эти вопросы...

Нет, так не могло долго продолжаться. И в октябре 1936 года Исаакян вместе с женой отправляется паромом через Средиземное море на родину (сын Виген уже год как переехал в Ереван). По дороге он останавливается на некоторое время в Афинах, затем продолжает путь до Батуми. Затем теплая и сердечная встреча в Тбилиси и, наконец, Ереван.

\* \* \*

Это произошло 5 декабря 1936 года. Конечно, торжественная встреча, всенародная встреча (автор этих строк помнит, какая огромная толпа собралась на главной площади столицы республики, чтобы приветствовать вернувшегося на родину поэта).

Приезд Исаакяна совпал с трудными временами в жизни республики и всей страны. Но поэт был на родине, был с народом и вместе с ним пережил и преодолел эти трудности.

Великий перелом в жизни Исаакяна совершился — решительно и бесповоротно.

Я восставал против капитализма, против общества, против всего. В конце концов после долгих взвешиваний, колебаний, раздумий я снова пришел к социализму... И вот по убеждению, по собственной воле я сжег за собой все корабли и навсегда приехал в тот мир, где вершится грандиозное дело — в национальном и общечеловеческом смысле.

Значительно сложнее происходил поворот в творчестве поэта. Потому что если в первом случае, в идеологии, решали понимание и воля — а Исаакян даже в это

трудное время проявил и то и другое, — то второе было обусловлено психологией творчества, где отнюдь не все напрямую зависит от сознания и воли. Мировая история литературы и искусства дает много примеров того, как в периоды, когда происходит сдвиг в действительности и в общественной психологии, писатель или художник сознанием, идейно осваивает происходящие перемены, а творчески, художнически затрудняется или оказывается вовсе не в состоянии это сделать. Почему? Потому что творческое освоение действительности, в отличие от политического и идейного осмысления ее, подвластно не только разуму и воле. Можно быть прекрасным поэтом и как гражданин хорошо понимать новую психологию и настроения общества, но не стать их художественным выразителем. Вот пример: в начале нашего века, в первые два десятилетия, был период, когда властительницей дум стала поэзия не Туманяна или Исаакяна, а совсем молодого Ваана Теряна. Вот почему Исаакян мог сказать своему младшему брату: «а теперь — твоя тысяча» (то есть твое время, время твоего поэтического господства). Точно так же, как за 20 лет до вышедшего в свет в 1908 году сборника стихов Теряна «Грезы сумерек» было время, когда поэтическим выразителем дум и настроений своих современников стала поэзия Иоаннеса Иоаннисяна, затем — Туманяна, потом Исаакяна, далее Теряна, а потом — Чаренца...

Так следовали друг за другом звенья единой цепи поэтического искусства, связанные каждое с личностью художника, который в определенное время лучше других не только постиг данный период общественно-исторической жизни, его дух и эстетические потребности, но и художнически прочувствовал и поэтически выразил его.

Если это верно в отношении дореволюционного времени, то тем более должно быть верно применительно к искусству пореволюционному, к отражению им взаимоотно-

ношений старого и нового в общественной жизни. Вот почему так трудно далась Исаакяну творческая перестройка. Многие же в свое время не понимали или не хотели понять этой сложности. Лучше всех осознал и объяснил ее сам поэт:

Запланировал объездить Армению. Поездить по другим краям Союза — посмотреть, понаблюдать явления новой жизни и художественно воспроизвести их, если, конечно, удастся.

Очень трудно уловить в динамике стремительно бегущую жизнь и воплотить ее в искусстве. В творчестве подсознание необходимее сознания, а это вопрос времени и, особенно, возраста.

Посмотрим, что покажет опыт.

Опыт показал, что поэт нужен был новой жизни и новому обществу — со своим, пусть традиционным стилем, со своими старыми классическими понятиями. В свое время очень нелегко было в объяснении сложного творческого явления позволять себе прибегать к понятиям: чувство, подсознание, интуиция. Критик и литературовед В. Кирпотин, автор первой статьи об Аветике Исаакяне («Поэзия нравственного здоровья», опубликованной во всесоюзной «Литературной газете»), который общался в это время с поэтом, позднее написал: «...в 1937 году он был в трудном положении... Его прошлый путь хорошо известен. Он всем сердцем принял свою обновленную родину, но нашлись люди, которые начали вспоминать о его изжитом пути; «Исаакян держался скромно, но он отдавал себе отчет в том, что его разрыв с эмиграцией, его переход к Советской власти, возвращение на родину — звено в мировом литературном процессе».

Тогда же В. Кирпотин в своем большом выступлении перед армянскими писателями говорил также о поэзии Исаакяна. На следующий день поэт выступил с речью,

которая потом была опубликована под названием «С моим вольным, созидающим народом»:

Вчера уважаемый товарищ Кирпотин в своем прекрасном выступлении говорил обо мне и моем творчестве... Его слова задали тон моей краткой речи, которую, мне кажется, вы не сочтете неуместной. Да, я вернулся на родину, чтобы работать и бороться за великое дело социализма. К несчастью, я не так уж молод, чтобы разделить с вами трудности борьбы, но, к счастью, и не так уж стар, чтобы натянуть одеяло на голову и так коротать дни.

...Нужно только любить, наблюдать, проникать вглубь, чувствовать, волноваться и превращать материал в искусство.

...Возвращаясь к себе, скажу: чтобы обучиться новому, мне многое надо забыть. Я — верблюд, обремененный большой поклажей, пока не скину старую поклажу, не могу взять новой. Я должен закончить 20—25 мелких и крупных вещей, которые день и ночь преследуют меня.

Одним из «непогашенных долгов» среди старых замыслов поэта, обремененного незавершенными работами, была обработка четвертой части большого армянского народного эпоса — «Мгер из Сасуна». Много лет — с 1919-го по 1937-й — с вольными или невольными перерывами он занимался этой поэмой. Не случайно обработка несет на себе заметные следы совершившихся за этот период социальных потрясений. Свидетельство тому то обстоятельство, что у Мгера Младшего в его борьбе явны черты героя — борца против социальной несправедливости.

Критика это сразу отметила. Павел Берков в статье «Две поэмы Исаакяна» выразил мысль, что и «Абул Ала Маари» и «Мгер из Сасуна» непосредственно связаны с

революциями 1905 и 1917 годов. И если в «Абул Ала Маари» «объективно получился образ российского интеллигента начала XX века с чуткой совестью, с острым чувством социальной несправедливости», то в «Мгере из Сасуна» «нашло выражение и завершение второе — оптимистическое, революционное «антропологическое» начало».

Уже в самом эпосе поэт мог найти основания для такого истолкования образа Мгера. В самом эпосе Мгер обладает чертами, присущими социальному герою, — он борется не только с внешними врагами, но и с внутренними врагами народа, сдирающими с него семь шкур феодалами, борется против «несправедливого устройства» мира. Мгер — герой четвертой части эпоса «Давид Сасунский», самый трагический и одновременно самый мудрый. Мгер — человек тяжелой доли, дядя лишил его отцовского наследства, и, изгнанный из родного Сасуна, он скитается по всему свету, не только со стороны наблюдая тяжкую жизнь народа, но и разделяя в полной мере его участь. Княжеский сын, он становится простым труженником, как и другие работники и рабы страдая от гнета хозяев. Глаза его прозревают, жизненный опыт приводит к мысли, что мир устроен чудовищно несправедливо. Эта сюжетная ситуация, разработанная в армянском эпосе X века, предвосхитила сюжетную ситуацию шекспировской трагедии о короле Лире.

Убедившись в несправедливом устройстве мира, Мгер всю свою богатырскую силу отдает тому, чтобы поднять народ и сокрушить несправедливый мир. Трагедия народа в том, что народ не понимает его, еще не созрел до осознания его целей. Трагизм этот с огромной мощью выражен в фантастическом образе (знакомом и русскому фольклору — образ богатыря Святогора) — земля становится прахом под ногами героя, конь его с каждым шагом все глубже уходит в землю. Герой вместе со своим скакуном оказывается запертым в Вороновой пещере, он

дает клятву выйти оттуда только тогда, когда «мир будет разрушен и воздвигнут вновь».

Свое толкование образа Мгера Исаакян выразил вполне определенно. В эпос «Давид Сасунский»,— писал поэт,—

...армянский народ вложил свою душу, свою полную борений и горечи философию истории, свое понимание мира, свою вековую мудрость, свои заветные идеалы.

И, создавая величественный, пророческий образ Мгера, наш эпос выходит за рамки национального и обретает общечеловеческое свойство, подобно оракулу возвещая сокрушение и воссоздание мира.

Корыстный, злой мир должен быть однажды разрушен и создан заново во имя счастья человечества.

Мгер символизирует страждущее и жаждущее свободы трудовое человечество.

Исходя из своего понимания образа Мгера, Исаакян, переживший две революции, отошел от оригинала.

Так, Исаакян для осуществления собственного замысла, с целью углубления социального содержания поэмы, создает новые главы: о том, как Мгер батрачит на поле феодала, как служит работником у пекаря, как работает на барщине у сельского старосты. Мгеру в его скитаниях открылось: везде бедняк тяжким трудом добывает себе только нищенское существование, и герой задумывается, отчего

Те, что знают лишь труд,—  
Всухомятку едят.  
Те, что бедных гнетут,—  
Сытно, сладко едят<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Здесь и далее поэма цитируется в переводе К. Липскерова.

Поэт дал Мгеру более активную роль, чем в эпосе, вложив в его уста призывы, направленные против господ и хозяев:

«Эй селяне, работники и рабы!  
Все, кто может владеть копьем и стрелой,  
Все, кто может владеть дубьем, булавой,  
Оружье берите,  
Идите за мной!  
Разрушим навеки мир темный и злой  
И строй трудовой установим в миру,  
Строй люда простого, закона и прав.  
Чтобы труженник стал хозяином сам  
Труду своему и своим хлебам».

Как отметил исследователь эпоса Арам Ганалаян, Исаакян дополняет поэму главой о посещении Мгера в Вороновой пещере стариком пастухом. Пастух проник в пещеру, и перед ним предстал

Кто-то могучий, подобный скале.  
На его голове был шлем,  
Он сидел на коне огневом,  
Молнию он держал...

«Кто ты?» — молвил старик.  
«Я — Мгер, сын Давида.  
Ты откуда пришел, старик?» —  
«С белого света», — молвил пастух.  
«А мир изменился иль нет?» —  
Спросил его Мгер.  
«Мир все такой же, как был», —  
Молвил старый пастух.  
«И по-прежнему люд простой изнывает в труде,  
И добычу свою отдает другим.  
Сам голодным живет?» —  
Спросил его Мгер.  
«Да, все по-старому, Мгер Джоджанц». —  
«Ну, возвращайся в свой злобный мир», —  
Сказал возмущенный Мгер.  
«Когда же ты выйдешь на белый свет?» —  
Мгера спросил старый пастух.

«Когда нож до кости  
Дойдет  
И Мгера народ  
Позовет»,—  
Грозный ответил Мгер.

Эта созданная поэтом новая глава играет решающую роль в замысле всей поэмы, в ее драматургии. Она придает драматический характер поэме и действиям ее героя-богатыря: в отличие от эпоса, где Мгер ждет, когда «мир будет разрушен и воздвигнут вновь», чтобы выйти из пещеры, исаакяновский герой хочет сам участвовать в переустройстве мира. Однажды он уже попробовал это сделать, но народ не понял его. Теперь он в полном вооружении ждет, когда у народа самого созреет мысль о необходимости перевернуть мир и он вызовет Мгера из заточения.

Иными словами, Мгер Исаакяна не только пророк революции, но и ее верный воин.

И когда пробил час, исаакяновский Мгер (в отличие от героя эпоса, который и поныне остается запертым в пещере) по зову народа бросается в бой за новый мир.

Молнии бьют с меча Авлуни.  
Ужас рождают, срывают они  
Пути, затворы; затворов — уж нет:  
Мгер появился, вышел на свет.  
Потекли бедняки, появились, пришли,  
Тысячи, тысячи, тысячи их,  
Подневольных рабов и рабочих лобых!  
Обступили морем безмерным,  
Бурнодышащим  
Мгера,—  
И грянули враз,  
И ринулись  
На царей и князей,  
Грозно грянули враз,  
Злой разрушили мир  
И строй трудовой утвердили в миру,  
Строй люда простого, закона и прав,  
Чтобы труженник стал хозяином сам  
Труду своему и своим хлебам.

Так заканчивается поэма Исаакяна, и этот финал с превосходной силой показывает новое отношение поэта двадцатого века к старому, созданному тысячелетие назад народному эпосу. Вот почему С. Шервинский с полным правом мог написать: «Смутная тоска и неприкаянность Мгера пленила того Исаакяна, которого мы знаем как поэта грусти и разочарования. Но Исаакяна нового, помолодешего на склоне лет, теперь влечет иное. Пусть этого нет в фольклоре, но этого хочет новая воля поэта».

Эпос «Давид Сасунский» долго занимал мысли поэта, вплоть до Великой Отечественной войны. Итогом этих размышлений явилась статья «Об опыте нашего эпоса». Она увидела свет в 1939 году, который знаменателен в армянской культуре двумя событиями: тысячелетним юбилеем эпоса «Давид Сасунский» и первой декадой армянского искусства и литературы в Москве. Тысячелетие «Давида Сасунского» вдохновило Исаакяна, и он посвятил ему чудесное стихотворение «Наши историки и наши гусаны».

Украинский поэт Леонид Первомайский вспоминает о торжествах по случаю тысячелетия «Давида Сасунского»: «На празднике было три героя, их имена повторялись беспрерывно, и каждый раз в этом многократном повторении звучал новый оттенок удивления, волнения, признания и благодарности: Давид Сасунский, Масис<sup>1</sup>, Исаакян... Не знаю, о ком из них говорилось больше. Не удивительно, что имя великана из Сасуна было у всех на устах — ради него мы съехались сюда со всех концов страны: от Молдавии и Карелии до Якутии и Чукотки. Масис все время был у нас перед глазами... А Исаакян! Не прилагая для этого никаких усилий, он своим существованием господствовал над праздником. Его пересказ одного из колен знаменитого эпоса «Мгер из Сасуна» — вызвал сенсацию. По силе словесного выражения, первозданной кра-

<sup>1</sup> Армянское древнее название горы Арарат.

соте образности, глубине и темпераменту он был равен тому источнику, из которого почерпнул его поэт. Когда же на второй или на третий день праздника в газете появилось стихотворение Исаакяна «Наши историки и наши гусаны», стало неопровержимым фактом, что наибольший смысл торжества определил своими спокойными строками Аветик Исаакян».

А на следующий год был юбилей самого Исаакяна. Шестидесятипятiletний Исаакян уже был признан народом великим поэтом, и народ присвоил ему высокое звание мастера — Варпета. Слово «Варпет» по отношению к нему больше не было определением, оно стало его собственным именем. Так что, когда в народе говорили: «Варпет сказал», «Варпет написал», всем было ясно, о ком идет речь. Под словом «Варпет» подразумевалось не только литературное, поэтическое мастерство, но и искусство человековедения, понимания души человека. Известный призыв: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» — не мог иметь к нему отношения, так как он был одновременно и поэтом и гражданином, человеком и мастером во все времена и во всех обстоятельствах своей жизни.

Внешне спокойный, созерцательно медлительный и тихий — такими, верно, были древние восточные мудрецы, — Варпет жил внутренне полной и напряженной жизнью. И всегда он держался так, точно был обычным жителем города, а не гордостью и славой его, как будто не ему принадлежали всенародная любовь и благоговейное поклонение. Есть множество свидетельств, историй, ставших притчами, рассказывающих о том, как широко было признание поэта в народе. Буквально каждый знал его в лицо, все здоровались с ним на улицах — знакомые и незнакомые.

Насколько широка была эта популярность, показали празднества в дни шестидесятипятiletнего юбилея поэта в Ереване, Ленинкане, Тбилиси. В ответ на эту всенарод-

ную любовь в конце юбилейного торжества в Ереване Исаакян произнес:

Все эти адреса, аплодисменты, словом, все ваши восторженные, сердечные приветствия в большей своей части относятся не ко мне. Потому что относись они только к моей особе, я считал бы их преувеличенными и гиперболическими. Их истинный адресат — многовековая литература армянского народа. Творчество народа — армянский язык, армянская литература... Я склоняю голову перед этими великими святынями.

А речь поэта на юбилейных торжествах в Ленинакане прозвучала гимном земле, взрастившей его.

Любимый Ширак был для меня центром вселенной, потому что здесь впервые забилося мое сердце. Здесь впервые открылся мне мир. Здесь берет начало мое миропонимание. Здесь я слушал звучание армянской речи и обучался родному языку. В заветном Шираке я сплел свои пышные грезы — в изумрудных лесах Манташу, на алмазной вершине Алагёза, под звон хрустальных родников, на берегах Арпачая, на мельнице, в огородах, под вдохновляющими стенами и башнями Ани.

С возрастом для меня границы Ширака все раздвигались и под конец охватили всю Армерию.

Армерию я всегда и постоянно носил в своей душе; где бы я ни был, она была со мной. Смотрел на Монблан, но видел Масис, стоял перед Парфеноном в Афинах, но созерцал Ереруйк и храм Рипсима. Слушал неаполитанские песни, но волновали меня наши народные песни.

Не менее знаменательно выступление юбиляра в Тбилиси — о братстве народов, об исторической дружбе армянского и грузинского народов. Писатель, у которого интернационализм был в крови и ярко проявился в его статьях тех лет, посвященных Пушкину, Руставели, Шевченко, Горькому, с волнением признает в этих юбилейных торжествах живое воплощение великой идеи братства народов.

Не могу скрыть своей гордости той честью, которой удостоил меня Союз писателей Советской Грузии в этой прекрасной столице братской Грузии, где я провел годы восторженной молодости и которая так близка, дорога мне и всегда жива в моей душе.

...Большую радость испытал я, когда прошлым летом, путешествуя по чудесной Грузии, встречал студентов, которые узнавали меня и читали наизусть отрывки из поэм «Абул Ала Маари» и «Мгер из Сасуна», с такой любовью и мастерством переведенные уважаемым товарищем М. Патарадзе.

У меня тоже немало переводов на армянский язык из великолепной грузинской литературы и прекрасного грузинского фольклора, и есть даже самостоятельные произведения из героической старой и новой грузинской истории.

...Известно, что существовал между двумя народами священный обычай — волнующий, уникальный символ в истории народов. Чтобы укрепить братство, во многих местах, где жило смешанное население — грузины и армяне, — грузинские матери вскармливали грудью армянских детей, а армянские — грузинских детей.

...Прежде чем закончить свою речь, я слав-

лю великие ленинские заветы и передаю их вам: храните и осуществляйте их в жизни...

Родина.

Родной язык.

Братство народов.

Интернационализм, коммунизм.

Много статей об Исаакяне было написано по случаю юбилея. В одной из них, в статье Деренника Демирчяна, особенно было подчеркнута отношение народа к поэту: «...никто в мире так щедро и искренне не вознаграждает человека, как народ. Сегодня этот народ вознаграждает Вас за все творческие радости, которые Вы доставили ему».

Это было сказано в конце 1940 года. Менее чем месяц спустя, 19 января 1941 года, Варпет снова доставил народу «творческую радость». Его стихотворение «Бингёл» — один из шедевров армянской лирики. Стихотворение поразительно своим юношеским воодушевлением, — а ведь поэту в это время уже исполнилось шестьдесят пять лет. Когда-то, очень давно, восемнадцатилетний Исаакян написал свой первый «Бингёл»:

Прохладой веет ветерок,  
С зеленых луговин Бингёла,  
Несется пенный поток  
В ущельях сумрачных Бингёла.

(Перевод Т. Спендиаровой)

Спустя сорок семь лет поэт написал второе стихотворение «Бингёл»:

Раскрыла весна зеленые двери для  
И, точно струна, запела в ручьях Бингёла,  
Одни за другим верблюды прошли, звеня,  
И яр поднялась на пышный яйлаг<sup>1</sup> Бингёла.

<sup>1</sup> Яйлаг — горное летнее пастбище. — Прим. переводчика.

Любви лезвие мне в сердце впилося — тоскую  
По стану ее, по морю волос — тоскую,  
По сладким речам — ах, сердце зажглось! — тоскую,  
По лани, что там, на влажных лугах Бингёла.

Прохлады ключи, но губ не раскрыть спаленных,  
Цветы — как лучи, но глаз не раскрыть бессонных,  
Нет, яр не ищи, — на склонах она зеленых,  
Поют соловьи напрасно в горах Бингёла.

Я сбился с пути, ишу твой порог напрасно,  
Все чуждо вокруг, брожу без дорог напрасно.  
Я, странник, в ночи устал и продрог напрасно,  
Скажи мне, сестра, где путь на яйлаг Бингёла?

*(Перевод Т. Спендиаровой)*

«Бингёл» 1941 года — неожиданное, счастливое возвращение молодости с ее свежестью и чистотой ощущений, ясностью мирозерцания, с трепетом тоски и ожидания. И какая пленительная легкость, какая чарующая гармония чувства и формы выражения! Стихотворение как будто вылилось единым дыханием.

Стефан Цвейг поражался «Марненбадской элегии» Гёте — юношескому вдохновению престарелого поэта. Нас тоже поражает в стихах немолодого Исаакяна юношеская непосредственность и первозданность чувства. Достоинство удивления и то обстоятельство, что стихотворение, написанное, казалось бы, в духе конца прошлого века, с традиционными рифмами, прозвучало в новые времена так свежо и сильно. Поражает и другое — в том же 1941 году нашелся безымянный певец, который сочинил чудесную мелодию к стихотворению. Слово и музыка так слились в песне, что народ принял ее в свое сердце, и она живет с ним, как и многие другие создания Исаакяна.

«Бингёл» — одна из жемчужин лирики Исаакяна и, пожалуй, последнее его произведение в народном стиле. Своим светлым настроением оно противостояло времени — вторая мировая война, развязанная германским империализмом, второй год уже полыхала в Европе.

В лирической летописи Исаакяна непосредственно за «Бингёлом» следует стихотворение «Боевой клич».

Гитлеровская Германия — опять Германия! — 22 июня 1941 года вероломно напала на Советский Союз. Возмущенная душа поэта восстала против издавна знакомого ему врага. 26 июня он написал свой «Боевой клич»:

Э-эй, земля родимая, держись!  
Готовы ль молнии? Готов ли меч,  
Чтоб ненавистных гибели обречь?  
Все ль вы на страже, родины сыны?  
Мы взяться за оружие должны,—  
Затихнет ветер и заснет вода,—  
Но злобный враг не дремлет никогда.

Вы слышите тяжелый лязг цепей?  
Тиран оковы тяжкие несет  
В наш край лесов, нагорий и степен,  
Он хочет обесчестить наш народ.  
Вступайте в переключку меж собой!  
Все ль на ногах и все ль готовы в бой?  
Да опояшет каждый стан броня,  
Да опояшет воля гордый дух,  
Да опояшет поясом огня  
Великий гнев наш дружественный круг!

Шуми, шуми зеленой кроной, дуб!  
Гремите бурей, зовы вещей труб!  
Срывайся, ржанье, с жарких конских губ!  
На бранный подвиг, братья, на борьбу!

.....  
Свою отчизну отстоим в бою.  
Э-эй, к победе, вольная страна!

*(Перевод В. Звягинцевой)*

Отечественная война изменила перо Исаакяна, настрой его поэзии. Автор «Бингёла», певец нежности, любви, стал проповедником ненависти. Он по праву брал

на себя эту роль, так как хорошо представлял себе врага и хорошо знал, что такое ненависть. Уже со времени первой мировой войны он ненавидел германский империализм, сыгравший такую преступную роль в судьбе народов. И он сам предоставлял себе право призвать своих соотечественников «опоясаться огнем ненависти». Все годы Великой Отечественной войны Варпет жил и действовал с высоким гражданским сознанием этой роли. Давно известно: чтобы внушить другим какое-то чувство, надо самому преисполниться им. Исаакян издавна был преисполнен ненависти к старому врагу. Он знал Германию не из книг только, а и по личному опыту. И по праву знания и пережитого жизненного опыта писал:

Мы знали и любили классическую Германию — «родину поэтов и философов», романтическую страну голубых цветов, идеалистическую и мечтательную, ту Германию, землю которой Эрнст Ренан поцеловал, пав на колени. Германию Гёте.

Однако эта Германия уничтожена сапогами прусских юнкеров, фельдфебельское воспитание Фридриха Великого привело к вырождению молодежи, милитаризм стал религией, война — культом. Агрессивно-реакционный дух Потсдама — вместо гуманистического Веймара, достигающий безумия шовинизм, внушающий идею превосходства немцев и ненависть ко всем не немцам, преисполненный презрения к трудящимся массам. Восхваление и обожествление силы и насилия. Господство над миром — «Германия превыше всего...».

Поэт считает великим преступлением рождение этой Германии и ищет слова, которые, обнажив ее сущность, зажгли бы в сердцах людей гнев и ненависть к фашизму.

Гитлер — патологический тип... с детства страдавший комплексом неудовлетворенной

манни величия, полное злобы чудовище, недочка, лишенный каких-либо моральных норм и сдерживающих пружинок, опьяненный шовинизмом, идеей реванша...

Как подлый, низкий бандит Гитлер вероломно напал на страну социализма... но его блицкриг разбился о неприступную плотину. Именно здесь, у нас его преступная свора окончательно разобьет свой лоб и обломает клыки.

Эти слова писались, когда не прошло еще двух месяцев с начала войны, гитлеровская армия наступала, немецкие захватчики считали себя непобедимыми.

В 1942 году, в самый тяжелый год войны, поэт, прекрасно знавший и глубоко почитавший немецкую культуру, вопрошал с недоумением:

Стало быть, не существуют больше для немецкого народа гуманистические заветы Гердера и Шиллера, нравственный императив Канта? Стало быть, не светят больше над головой Германии бесконечные звезды и нравственный закон не живет больше в ее душе?

Вопрошает и, отделяя гуманистическую культуру Германии от фашистских изуверов, дает собственную заповедь:

Чтобы защитить достоинство человека и спасти тысячелетнюю культуру человечества от фашистского «нового порядка», есть только одно средство: уничтожить Гитлера и его свору.

Вряд ли кто-либо мог лучше Исаакяна объяснить, почему Геринг в своей так называемой зеленой книге (книге, где определялось отношение захватчиков к тому или иному народу) дает указание: учесть особо недоброжелательное отношение армян к немцам. Поэт, ни на минуту не забывавший трагедию 1915 года, мог дать этому исчерпывающее объяснение:

...Когда деревни и города Армении потонули в крови армян, выродок кайзер Вильгельм II цинично объявил, что от армян нужно оставить только одного человека, как экспонат этнографического музея. А в первую империалистическую войну тот же кайзер со своей сворой поддерживал пантуркистские бредни и... было уничтожено все население Западной Армении; целый народ, со своей древней культурой, искусством, фольклором, изгнали с его многострадальной родины, зачеркнули его прошлое, настоящее, будущее. Немецкие офицеры с гоготом наблюдали, как свирепые убийцы бросали в море взрослых, детей, матерей. Германия нанесла армянскому народу незаживающую рану...

Это надо знать армянскому солдату, когда он встретится с немецкой армией. И надо знать, что армянский народ должен как смерть ненавидеть своего врага и любить своего друга — великий русский народ.

Так, опираясь на уроки истории, ориентировал поэт свой народ. Когда гитлеровские орды подошли к Кавказу, снова прозвучал взволнованный голос поэта:

Фашистская орда подступила, стучится в железные ворота Закавказья... Она хочет уничтожить священный союз кавказских народов-братьев, хочет обессилить нас, чтобы сделать рабами. Грузин, армянин, азербайджанец — связанная обычаями и традициями дружная семья, родившаяся на одной земле, выросшая под одним солнцем...

Закавказские народы-братья, будем мужественно сражаться в рядах непобедимой Красной Армии, чтобы доказать, что мы достойные сыны наших героических предков, что

мы готовы бороться и умереть за нашу родину, наш язык, нашу свободу и наше будущее.

Так воодушевлял поэт солдат, идущих на войну. Словом, проникнутым патриотическим и гражданским пафосом, проникновенным и красочным, Исаакян внес свою лепту в великую победу над фашизмом.

Публицистика Исаакяна — статьи «Смерть немецким оккупантам!», «Фашизм должен быть сокрушен», «Победа на стороне прогресса» — заняла достойное место в ряду выступлений крупнейших советских писателей в годы Великой Отечественной войны.

В суровые годы войны Исаакян был с народом, боролся вместе с ним, вместе с ним переживал его боли и утраты. Тому много свидетельств, одно из которых находим у Стефана Зорьяна. Однажды, «в дни войны, когда люди... нуждались в теплых словах утешения, ко мне пришла простая женщина — мать троих сыновей, сражавшихся на фронте, принесла написанное ею стихотворение и просила передать Исаакяну.

И как вы думаете, о чем писала эта женщина? Думаете, просила помощи? Нет... Горемычная мать обращалась к любимому поэту: ниши стихи, потому что только ты можешь утешить несчастных матерей, только твое слово может залечить наши сердечные раны... «Так я обращаюсь к родному». А Исаакян всем был родной».

Вряд ли что-нибудь нужно добавить к этой истории. Быть может, только, что слова Варпета жаждали не одни сражающиеся воины, но и их горемычные матери.

Когда весной 1943 года открылась Армянская академия наук, Исаакян — один из первых действительных ее членов — должен был произнести свое веское слово.

Открытие Армянской академии — новая мощная победа над мракобесием гитлеризма и одновременно символический и вдохновенный факт непоколебимости нашего Союза и нашей просвещенной государственности.

Когда в 1943 году создавался историко-патриотический фильм «Давид Бек», Исаакян написал для него слова песен.

Когда весной 1944 года, при участии видных шекспироведов, в Ереване состоялась Всесоюзная конференция, посвященная Шекспиру, Исаакян выступил на ее открытии.

Когда в том же 1944 году вышел в свет исторический роман Дереника Демирчяна «Вардананк», Исаакян был первым, кто дал характеристику этому заметному явлению армянской литературы.

Роман объят пламенем битвы, кажется, с каждой его страницы доносится ржание боевых скакунов. Бравые юноши готовы сражаться и умереть за родину.

...Поучительный, воспитательный роман, поднимающий, укрепляющий дух. В высшей степени совпадающий с нашей настоящей великой эпохой — днями Великой Отечественной войны, вдохновляющее слово, сказанное очень своевременно. Он должен побуждать воинов брать пример с наших героических предков, самоотверженно бороться за свободу родины, защищать культуру от... Гитлера, который явился, чтобы покорить нашу страну, уничтожить нашу культуру, попрасть нашу свободу и наше достоинство.

В годы Великой Отечественной войны приобрели актуальное значение героические страницы исторического прошлого. Писатели народов, имеющих богатое историческое прошлое, добывали из глубин прошлого не пепел, а огонь, который никогда не угасал. Так, по требованию времени были созданы «Вардананк» Дереника Демирчяна, «Ара Прекрасный» Наира Заряна, «Царь Пап» Стефана Зорьяна. Ту же цель преследовали исторические экскурсии в публицистических выступлениях Исаакяна, глубоко ак-

туальные по своему звучанию. Вот почему Александр Фадеев мог сказать: «Исаакян дорог тем, что связывает старую поэтическую культуру с настоящими днями. Старейший мастер армянской поэзии, прославившийся в прошлом своей тончайшей лирикой, показал себя в дни войны страстным бойцом-публицистом».

Старый поэт звал своих детей на бой и смерть во имя победы. Вместе со всем народом он жил ожиданием великого дня победы. Осенью 1943 года, когда был сломлен хребет ненавистного врага и предрешен исход войны, этот вожделенный день грезился ему совсем близким. Речь его, посвященная двадцать третьей годовщине Советской Армении, заканчивалась видением близкого мира: «Армянский народ знает, что победа близка... Всей душой пожелаем, чтобы двадцать четвертую годовщину отмечать в мирные дни».

Победа пришла позднее — 9 мая 1945 года. Новое поколение, сколько бы оно ни читало книг и ни смотрело фильмов, не может испытать того волнения и той радости, которая затопила свидетелей и участников грандиозных исторических событий. Тех, для кого война была личным делом и летописью собственной жизни, чьи дети и отцы сражались и умирали на полях сражений.

Наконец наступил мир, мир пришел с Победой, одолев насилье и зло.

Сегодня наконец замолчали сеющие смерть пушки, умолкли все смертоносные орудия.

Война кончилась, больше не косит обильно и свирепо человеческие жизни, цвет народов — молодежь.

У всех людей свалился с души тяжелый камень. Победный путь Красной Армии увенчался разгромом фашистского логова в Берлине.

Сегодня над Берлином со славой реет знамя Советского Союза.

Победа досталась ценой неисчислимых жертв. Многие юноши, одетые в военную форму, не вернулись домой. Глубоким сочувствием павшим героям и их родным проникнуто стихотворение, которое Варпет посвятил Дню Победы («День Великой Победы»). Везде шум, смех и возгласы веселья. Один человек накрыл стол на улице возле своего дома и

Прохожих зовет и просит к столу:  
— Братья, прошу я Победы вином  
Сыну-герою воздайте хвалу,  
Пейте за здравие ваших сынов!

Пьют, и на лицах веселье горит,  
Звонко стакан лишь стучит о другой.  
Тихо один тут отец говорит:  
— Пью за сыновьей души упокой!

Строго смолкают на слово отца,  
Шапки снимают пред гостом таким,  
Молча за мертвого пьют храбреца,  
Хлеб омывая вином золотым.

*(Перевод Н. Тихонова)*

Исаакян был верен себе, своей человеческой и поэтической природе, — среди великого ликования и всеобщего веселья не забывая тех, кто понес утраты, у кого в душе война оставила незаживающие раны. Способность принимать близко к сердцу чужую беду, переживать чужую боль, как свою собственную, характерная для всех великих художников-гуманистов, проявлялась у Варпета во всех обстоятельствах жизни. Народ ощущал эту сердечную чуткость, свойственную творчеству и характеру поэта, и отдавал ему должное — платил своей любовью. Исаакян был поэтом, который мог сказать:

Все проходит через мое сердце — весь мир,  
все явления, все события, — я не могу равнодушно взирать на мир, не откликаясь, не отражая его.

...Я почувствовал, понял боль вселенной через боль армян.

...Мое сердце перенесло все те удары, раны, смерти, которые перенес армянский народ.

...Горе, заботы народа живут в моей крови. Запечатлены в моем сердце...

...Меряйте любовью — пусть она будет единственной мерой, что бы вы ни оценивали.

Это были не красивые слова, а дело и творчество, линия поведения и биография. Именно поэтому имя его было авторитетным не только в области искусства, но и общественной нравственности, не только в Армении, но и за ее пределами. К его слову прислушивались везде, так как его свидетельство придавало вес любому явлению.

Когда в 1946 году отмечалось два года со дня гибели Мисака Манушяна — поэта и борца французского Сопротивления, расстрелянного фашистами, Исаакян сказал:

...он умер прекрасной смертью, смертью, которую воспевала героическая Эллада — калотансна, как они называли, то есть умер на поле славы, во цвете лет, умер во имя любви к отчизне, во имя идеи... Горе народу, который не может родить и воспитать сынов, способных на героический подвиг.

Когда в тот же год состоялся Второй съезд писателей Армении, Варпет был избран и оставался до конца своих дней председателем Союза писателей Армении. На открытии съезда он сказал о роли литературы:

Литература не самоцель, ее назначение — правдивым, исполненным высокого мастерства словом возвышать человека, воспитывать в нем чувство братства с другими людьми, духовно подготовить его к идеальному общественному строю.

Будем хранить чистоту и благородство нашего заветного оружия.

В это время уже началась репатриация армян, рассеянных в годы первой мировой войны по всему свету, и Исаакян обращается к зарубежным писателям-армянам:

Теперь на наших товарищей — зарубежных писателей — ложится священная обязанность: содействовать благополучной репатриации. Надо внушать всем проживающим на чужбине армянам, что все они являются будущими гражданами Советской Армении. Наши собратья по перу должны воспевать и внушать любовь к Советской Армении — родине всех армян. Должны пробуждать национальное самосознание...

Народ и правительство высоко оценили творчество и деятельность Варпета. В 1947 году правительство предоставило Исаакяну особняк, в котором он прожил до конца своих дней и где ныне помещается его дом-музей. Двери особняка, когда жив был поэт, были открыты для всех, как и его сердце. Множество людей перебивало у него. Вряд ли найдется писатель, старый или молодой, который не побывал в этом доме, и вряд ли найдется среди них кто-либо, кто не испытал на себе воздействие его обаяния как человека и писателя. Но Исаакян и современная армянская литература — это тема специального исследования.

Дом Варпета стал местом, куда шли тысячи людей, знакомых и незнакомых, связанных с ним делами и, чаще, не связанных, шли с вопросами, с просьбами. Выражение Саят-Новы — «служитель народа» — приобретало в данном случае совершенно прямой смысл. Варпет порой выражал неудовольствие:

«Кого-то отдали под суд — приходят ко мне; выгнали из школы — обращаются ко мне, остался без работы — просит моего содействия, квартиру не дают — я должен ходатайствовать».

Рубен Зарян, рассказавший об этих сетованиях поэта, в своих воспоминаниях продолжает: «Я сказал ему, что

он завоевал такую популярность, что каждый считает вправе обратиться к нему. Улыбнулся. Сам знал, что это так, но — иное дело, когда скажет об этом кто-то другой».

Он первым из представителей армянского народа выступил от его имени на трибуне конгресса сторонников мира в 1949 году.

...Армянский народ из истории вообще и своей истории в частности приобрел неопровержимое убеждение в том, что войны приносят неисчислимые бедствия и разорения как великим народам, так и всему человечеству. Цивилизация обращается в мрак и регресс, а малым народам война несет гибель, уничтожение, смерть... Только мир несет жизнь и добро, свет и счастье.

...Мы обращаемся куму и сердцу прогрессивных людей земного шара, к демократам и гуманистам, ко всем, кому дороги человеческая жизнь и человеческий гений, — объединяйтесь в движение сторонников мира.

Варпет был высоким авторитетом не только на родине, но и для армян, проживающих за рубежом. Когда Всемирный конгресс сторонников мира принял воззвание ко всем народам земного шара, Исаакян обратился также к армянам, проживающим за пределами Советского Союза:

Мы горячо желаем, чтобы рассеянные по всему свету наши армянские братья и сестры поставили свои подписи под этим историческим воззванием — во имя будущего своего народа и братства всего человечества, во имя гуманистической культуры.

Писатели и художники братских республик и зарубежных стран видели в Исаакяне крупнейшего поэта современности, привлекавшего их не только творчеством, но и как личность — своей колоссальной образованностью и

искренностью, непосредственностью характера. Он поражал всех своими познаниями мировой культуры, нравов и обычаев многих народов. Вот почему такое удовольствие получали от общения с ним Николай Тихонов и Илья Эренбург, Константин Гамсахурдиа и Симон Чиковани, Вацис Реймерис и Антанас Венцлова, Максим Рыльский и Леонид Первомайский, Кришан Чандр и Жоржи Амаду, Вера Звягинцева и Пабло Неруда. Все писатели, приезжавшие в Ереван из разных уголков мира, были гостями в доме Варпета. Чилиец Пабло Неруда не мог не удивляться тому, как великолепно разбирается восьмидесятидвухлетний Исаакян в древнем искусстве и фольклоре ацтеков и инков, проводя параллели между чилийским эпосом «Араукана» и «Давидом Сасунским». Многие видные писатели и художники, знавшие Исаакяна, запечатлели его облик и свое восприятие его поэзии.

«...Сила лирики Исаакяна в том, что он свое самое интимное может сделать всеобщим, и кажется — всегда были эти песни, эти маленькие стихи, они жили в народе задолго до поэта, и он только подслушал и записал их...» (Н. Тихонов).

«Наш великий Варпет был не только великим поэтом, но и наиболее образованным человеком, старейшим братом нашим среди народов Кавказа... История литературы двух последних столетий подтвердила, что великие писатели стяжают себе славу не только исключительным мастерством, но и человеческими качествами, светлой и незапятнанной биографией, которая как моральный фактор имеет первостепенное значение» (К. Гамсахурдиа).

«Я вспоминаю встречу... с Аветиком Исаакяном. У него было лицо со множеством морщин, похожее на древний пергамент, лицо философа и ашуга.

Поэт Исаакян принадлежит к тому ряду поэтов, которые редко рождаются. Им вправе гордиться любая, даже самая богатая литература. В течение многих десятилетий

его поэзия помогала мне жить. Я убежден, что она останется века и века» (И. Эренбург).

«Помню портрет матери поэта в его комнате, помню много прекрасно изданных книг на европейских языках...

Исаакян... Когда я произношу это имя, каким-то тускло-золотым светом заливается все вокруг. Пахнет дымком тондиров, плывет не уплываая Арарат, а внизу где-то бурлит не то Зангу, не то Касах... Исаакян — простая, чуть грубоватая, чуть горячая нежность. Любовь к этой трудной земле, к этим горам, этим полям. Любовь крестьянская, истовая, стесняющаяся сладости.

Исаакян — один из самых прекрасных поэтов, известных мне. А рассказать, чем он велик и прекрасен, — невозможно, как невозможно рассказать, чем прекрасна такая-то соната Бетховена» (В. Звягинцева).

«Особенно я люблю творчество Аветика Исаакяна и считаю его одним из величайших поэтов нашего времени. На его стихи я написал музыку» (Георгий Свиридов). Композитор Г. Свиридов создал вокальный цикл на стихи Исаакяна «Страна отцов».

Восьмой десяток свой Варпет прожил в атмосфере всеобщего уважения и славы, украсивших его закат. Мир как будто щедро воздавал поэту за то, что он с такой душевной расточительностью отдавал всего себя людям, жизни. А Варпет по-прежнему продолжал распространять вокруг себя свет и сердечное тепло и в своих, все более редких, произведениях. Одно из последних стихотворений «Авику», семьдесятителный поэт посвятил своему десятилетнему внуку.

Пусть будет прям всегда твой путь.

Будь справедлив и честен будь.

Горячей, доброю душой

Люби весь этот мир большой.

Люби товарищей своих,

Всегда будь радостью для них.

В беде от друга не беги,

Ему, чем можешь, помоги.

И до конца счастливых дней

Будь предан родине своей,  
Ее защитой верной будь,  
И если ты когда-нибудь  
Пойдешь на подвиг для нее —  
Не возгордись, дитя мое:  
Ты только долг исполнишь свой.  
Иди ж дорогой трудовой  
И с чистой совестью живи  
Для мира, счастья и любви.  
Когда ж умру я, ты, один,  
К моей могиле подойди  
И помолчи над ней, грустя,  
Любимое мое дитя.

*(Перевод В. Звягинцевой)*

Одно из последних в жизни поэта, это стихотворение написано с тем же мудрым простодушием, с той же восхижительной прозрачностью и ясностью, что и произведения, созданные многие десятки лет назад.

Старик дед, с присущим всем дедам правом, читает внуку нравоучения — ясным, доступным языком. Но наставления Великого Старца обращены не только к его собственному, но ко всем внукам всех времен.

В речи, произнесенной на праздновании его восьмидесятилетия, Варпет, с высоты своего огромного жизненного опыта, давшего ему на это моральное право, оставляет народу свои последние заветы:

Дорогие друзья, я уже обеими ногами в старости, но мысль моя пока здорова, я могу думать, фантазировать, мечтать. Я еще могу писать.

В Индии есть обычай: по их понятию, предел жизни — 70 лет. Столько лет жить — законное право каждого человека, отпущенное ему природой. Чтобы жить дольше, нужно купить эту милость — человек должен предоставить общине нечто осязаемое, равноценное весу его собственного тела. Он становится на одну чашу весов, а на другую кладет соответствующую

щую его тяжести плату — богатый кладет золото, серебро, парчу, малоимущий — плоды, фрукты, рис... таким образом он покупает время своей жизни.

Я делаю то же своими писаниями.

Значит, я могу жить.

Так мог сказать только человек высокой совести и требовательности к себе. Он хотел перед собственной совестью и своим народом обосновать свое право на долгую жизнь, которая в глазах с сердечным трепетом внимавшего ему народа была уже тысячекратно оплачена и оправдана.

Оправдано и обосновано право оставить свои заветы будущим поколениям.

Дорогие друзья, старость — это кристаллизация. В старости весь мир, человек, все предметы очищены, выкристаллизованы, объективно оценены, уточнены, вы достигли истины, сути.

И это дает право, уполномочивает старца высказать свои пожелания.

Я пожелал бы, чтобы армянский народ верил в свои силы и сохранял свое национальное достоинство. Пожелал бы, чтобы он любил свой родной язык. Более сознательно держался своей родной земли. Пожелал бы, чтобы он с любовью хранил памятники своей древней культуры и гордился ими. Пожелал бы, чтобы наше искусство и литература посредством национального колорита и формы выражали общечеловеческие мысли и чувства, создавали ценные произведения и образы... Под знаменем патриотизма неустанно и самоотверженно бороться за правду социализма, братство народов, за гуманизм и мир во всем мире — чтобы спасти человечество от гибели и одичания.

О месте и значении Исаакяна в армянской поэзии лучше всех сказал Дереник Демирчян в своей речи на юбилейной научной сессии Академии наук Армянской ССР в октябре 1955 года. Острая и пронизательная мысль его, содержащая характеристику творчества Ованеса Туманяна, явилась, одновременно, и самым глубоким истолкованием народности Исаакяна. Это было последнее публичное выступление Демирчяна. В конце следующего года его не стало. Смерть его явилась последним тяжелым ударом в жизни Исаакяна. Он очень тяжело пережил утрату младшего друга. Природа поставила последнюю точку в этой, длившейся многие годы, с начала века, дружбе. Душа Варпета осиротела, точно призрак смерти приблизился к нему, напоминая слова о смерти, о небытии, которые постоянно, еще с конца прошлого века, беспокоили его мысль, но тогда — умозрительно... Вспомним, давно, очень давно, когда он был еще семинаристом в Эчмиадзине, Иоаннес Иоаннисиан сказал юному Аветику, прочитав один из первых его стихотворных опытов: «Любовь и смерть, вечная тема поэзии... Конечно, то, что ты написал, — фантазия! Незрелая. Пиши о том, что чувствовал сам...» Теперь уже, спустя много лет после своего лучезарного рассвета, размышляя о смерти и небытии, поэт писал о том, «что чувствовал сам». О глубоко прочувствованных вещах. О своей душе, высвобождающейся от всех материальных, земных пут и устремляющейся к бесконечности, сливающейся с вечностью.

Выйти бы за пределы вселенной,  
Оторваться бы, удалиться, бежать  
От законов времени, природы.  
Освободиться бы, вдохнуть свободу  
От вопросов: сила — материя, жизнь — смерть.

*(Перевод подстрочный)*

И. Бунин в воспоминаниях о Льве Толстом пишет, что «...чувствование смерти, всего ее телесного и духовного

процесса было в нем обострено особенно, — это закон, «степень чувства жизни пропорциональна степени чувства смерти», — и никогда не оставляло его». Великим людям свойствен этот дар, который придает особенную остроту и их горю, и их радости, благодаря ему произведения их отличаются полнотой и насыщенностью жизнью и чувством.

Исаакян тоже принадлежал к этому разряду людей. Такими насыщенными жизнью и чувством были и его последние создания.

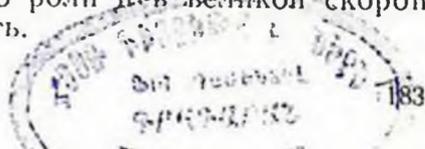
Какой глубокий смысл в том, что последнее слово Варпета оказалось обращенным к юному поколению:

Дорогие дети, каждый раз, когда речь заходит о родине, мое сердце наполняется всеохватывающей любовью и душу затопляет безграничное теплое чувство. Ни мраморная площадь Св. Марка в Венеции, ни готические здания Берлина, ни красоты Парижа не могли затмить высокое и святое чувство, которое я испытал, когда, после долгих скитаний по свету, ступил ногой на родную землю. Родина для меня выше и дороже всего на свете.

И вы, дорогие дети, кто бы вы ни были — русские, украинцы, азербайджанцы или грузины, — любите нашу родину, наш народ.

Какая завидная верность себе, собственной человеческой сущности, всегда, во все дни и годы, на протяжении своего долгого, извилистого жизненного пути. Любимый Варпетом Гёте считал исключительным свойством великих людей то, что они «имеют смелость быть такими, какими создала их природа». Аветик Исаакян принадлежал к числу таких людей. Ему предназначена была честь и слава учителя жизни, мастера поэтического искусства.

И когда 17 октября 1957 года поэт скончался, народ с глубоким сознанием этой его роли и в великой скорби провожал его в последний путь.



*Ахвердян Левон Оганесович*

## ЖИЗНЬ И ДЕЛО АВЕТИКА ИСААКЯНА

М., «Советский писатель», 1975, 184 стр. БЗ—49—28—75. Художник *Е. С. Скрынников*. Редактор *К. Н. Положская*. Худож. редактор *Н. С. Лаврентьев*. Техн. редактор *Ф. Г. Шапиро*. Корректор *В. Е. Бораненкова*. Сдано в набор 27/VI 1975 г. Подписано к печати 11/IX 1975 г. А 02338. Бумага 70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub> № 1. Печ. л. 5<sup>1</sup>/<sub>4</sub>+вкл. (8,84). Уч.-изд. л. 7,96. Тираж 16 000 экз. Заказ № 493. Цена 38 коп. Издательство «Советский писатель», Москва Г-69, ул. Воровского, 11. Тульская типография «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109.

ԳԱԱ Հիմնարար Գիտ. Գրադ.



110037400

38 коп.

ЦЕНА

$\frac{P \ 1}{37400}$

